

На правах рукописи

Анисимов Кирилл Владиславович

**Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX веков:
Особенности становления и развития региональной литературной традиции**

Специальность 10.01.01 – русская литература

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора филологических наук

Томск – 2005

Работа выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы филологического факультета Томского государственного университета

Научный консультант:

доктор филологических наук, профессор Александр Сергеевич Янушкевич

Официальные оппоненты:

доктор филологических наук, профессор Александр Эммануилович Еремеев

доктор филологических наук, профессор Нина Елисеевна Меднис

доктор филологических наук, профессор Вячеслав Алексеевич Суханов

Ведущая организация: Иркутский государственный университет

Защита состоится 15 июня 2005 года на заседании диссертационного совета Д.212.267.05. по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора филологических наук при Томском государственном университете (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36).

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Томского государственного университета

Автореферат разослан « ___ » _____ 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,
кандидат филологических наук, профессор
рова

Л. Захарова

Л.А. Захарова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Активно развивающаяся с 1980-х гг. традиция исследований «локальных» текстов русской литературы, связанная с рецепцией философско-эстетического наследия М.М. Бахтина (в частности, его идей о хронотопе), а также с развитием представлений о семиотике пространства и включающая в себя целый ряд работ о «петербургском», «московском», «пермском», «усадебном», в последнее время «сибирском» текстах национальной словесности, стремится, главным образом, к реконструкции семантических параметров того или иного исторически отмеченного территориального мира, образ которого воссоздается в произведениях русской литературы. При этом изучение литературной работы, ведущейся интеллигентским сообществом *внутри* данного региона, и вообще придание этой деятельности качества самостоятельного предмета исследования продолжает оставаться в нашей филологической науке редким явлением. Исключение составляет, пожалуй, только Сибирь – крупнейший регион России и одновременно наиболее удаленный от ее историко-географического центра. Вероятно, поэтому тенденция признавать некоторые особенные черты сибирской литературной традиции проявилась еще в 1830-е гг. (книга Генриха Кенига «Литературные картины России», 1837 г., известная в русском переводе 1862 г. под названием «Очерки русской литературы»). В начале XX в. самобытность сибирской региональной словесности, в первую очередь благодаря классическим работам М.К. Азадовского, стала более известной и понятной. Вместе с тем систематически проводящиеся с 1910-х годов исследования русской литературы Сибири (от средневековых летописей, посвященных походу Ермака, до литературно-критической деятельности областников XIX – начала XX вв.), как правило, выполнены в источниковедческом и историко-литературном ключе. Обращение к проблемам *поэтики* областной литературы Сибири встречается значительно реже и связано, главным образом, с анализом конкретных произведений.

Актуальность данной работы определяется возросшим интересом современного литературоведения к геокультурным аспектам истории национальной словесности, проблемам поэтики и семиотики локального текста. В диссертации литература края впервые рассматривается как поэтическая система, которая располагает рядом объективно заданных параметров, влияющих на творческие поиски авторов региона. Из этих параметров наиболее существенной представляется ситуация *отдаленности* от культурного центра, которую пишущий человек переживал в Сибири особенно остро и которая одновременно, соотносясь с явлением периферии семиосферы (Ю.М. Лотман), оказывала продуктивное воздействие на процесс художественных и мировоззренческих исканий. Ощущение отдаленности, воздействуя, подобно некоему силовому полю, на авторское *самосознание*, заставляло писателя вырабатывать способы *самоопределения* относительно Сибири (как правило, в рамках антитезы «покинуть – остаться») и, соответственно, избирать те или иные приемы ее художественного воспроизведения (с большим или меньшим тяготением к поэтическому *остранению*).

Анализ воздействия самосознания регионального автора на структуру выходящего из-под его пера текста, выявление на этом основании особых качеств сибирской словесности как специфической региональной традиции в рамках русской литературы является основной **целью** предпринятого исследования. Поставленная цель подразумевает решение ряда конкретных **задач**, продиктованных как отбором репрезентативного для исследования материала, так и методом его изучения:

1. Проанализировать семиотические параметры Сибири как историко-культурного ландшафта;
2. Выявить специфику взаимодействия формирующейся региональной словесности Сибири с традицией центра;
3. Рассмотреть формирование первых эстетических концепций литературы края в 10-30-е гг. XIX века (П.А. Словцов);
4. Изучить журналы Г.И. Спасского «Сибирский вестник» и «Азиатский вестник» (1818-1827) в аспекте поэтики сибирской темы в литературе эпохи романтизма;
5. Исследовать сюжетосложение и жанровую природу первых образцов региональной беллетристики – романов И.Т. Калашникова 1830-х гг.;
6. Выявить особенности областнической концепции автора и героя (литературно-критическое наследие Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева);
7. Реконструировать «биографический текст» областнической культуры второй половины XIX в. и определить его влияние на художественные эксперименты областников;
8. Исследовать становление жанров повести и романа в литературе Сибири 1900-1910-х гг.

Традиция изучения литературы Сибири в аспекте поэтики знает несколько этапов. О самом существовании русской словесности на крайних восточных рубежах государства читателю могли сказать еще средневековые сибирские летописи, созданные в XVII в., одну из которых, принадлежащую перу С.У. Ремезова, широко использовал Герард Фридрих Миллер при написании фундаментальной «Истории Сибири» (1750), а другую – Строгановскую – Н.М. Карамзин, сделавший ее основой своего рассказа о Ермаке в IX томе «Истории государства Российского» (1821).

Во второй половине XIX столетия благодаря деятельности областнически настроенной интеллигенции сибирская словесность обрела более отчетливые контуры. Основной проблемой писательского сообщества востока России на протяжении XVIII – первой половины XIX вв. была разрозненность культурных усилий отдельных энтузиастов и, как следствие, атомизация литературного процесса, который в территориальном отношении локализовался в рамках небольших «культурных гнезд» (Н.К. Пиксанов), а в хронологическом – напоминал последовательность спорадических взлетов, после которых следовали годы, а то и десятилетия литературной немоты. Идеологи областнического движения Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев осознавали эту специфическую черту истории региональной литературы и общественной жизни в целом. Ставя проблему специфики Сибири как особого пространства в составе Российской империи, они закономерно должны были рас-

сма­три­вать культу­ру края как типоло­гиче­ски цело­ст­ное яв­ле­ние. Демон­стри­руя уве­рен­ное вла­де­ние про­бле­ма­ти­кой ассо­ци­и­ру­ю­щих­ся с Си­би­рью тек­стов от лето­писей и исто­ри­че­ских песен, по­свя­щен­ных Ермаку, до твор­че­ства полу­за­бы­тых поэтов не­дав­не­го про­ш­ло­го, да­вая ав­то­рам этих тек­стов мет­кие ха­рак­те­ри­сти­ки, об­ла­ст­ни­ки, по су­ти, кон­стру­и­ро­ва­ли исто­ри­ко-ли­те­ра­тур­ный про­цесс Си­би­ри в его цело­ст­но­сти, ус­та­нав­ли­вая вза­имос­вязи между пе­ри­о­да­ми ста­нов­ле­ния сло­вес­но­сти края.

Сле­ду­ю­щим эта­пом изу­че­ния си­бир­ской об­ла­ст­ной ли­те­ра­ту­ры за­ко­но­мер­но дол­жно бы­ло стать ис­сле­до­ва­ние ее поэ­ти­ки. Од­на­ко здесь кри­ти­ка и фи­ло­ло­гиче­ская нау­ка на­ча­ла ХХ в. (имен­но в это время во­про­сы поэ­ти­ки об­ла­ст­ных тек­стов бы­ли впер­вые по­став­ле­ны в ра­бо­тах Н. Чу­жа­ка-На­си­мо­ви­ча, М.К. Аза­до­в­ско­го) столк­ну­лись с ря­дом ме­то­до­ло­гиче­ских про­бле­м. Сложив­шее­ся бла­го­да­ря об­ла­ст­ни­кам и их пред­шес­т­вен­ни­кам об­ще­е пред­став­ле­ние о ли­те­ра­тур­ном про­цессе в Си­би­ри бы­ло при­зна­ни­ем то­го, что раз­ви­тие сло­вес­но­сти на вос­то­ке стра­ны воз­мож­но как та­ко­вое. Од­на­ко дан­ное на­блю­де­ние при всей его чрез­вы­чай­ной важ­но­сти не да­ва­ло не­по­сред­ст­вен­но­го вы­хо­да на про­бле­му худо­же­ствен­ной спе­ци­фи­ки и струк­тур­ной ор­га­ни­за­ции ре­пре­зен­та­тив­ных тек­стов тра­ди­ции. Бо­лее то­го, при­внесен­ная Г.Н. По­та­ни­ным и Н.М. Яд­рин­це­вым в их ли­те­ра­тур­но-кри­ти­че­ские по­стро­е­ния вне­эс­те­ти­че­ская ка­те­го­рия об­ла­ст­но­го па­три­отиз­ма са­ма нуж­да­лась в поэ­то­ло­гиче­ской ин­тер­пре­та­ции, без ко­то­рой ре­ги­о­наль­ная сло­вес­но­сть в со­от­вет­ствии с дав­ней об­ще­на­ци­о­наль­ной при­выч­кой под­вер­глась бы не­из­беж­но­му раз­ме­же­ва­нию по иде­о­ло­гиче­ско­му при­зна­ку. От­сут­ствие ре­ше­ния и да­же кор­рек­т­ной по­ста­нов­ки во­про­са о ли­те­ра­тур­ном об­ла­ст­ни­че­стве ос­лож­ня­лось рас­про­стра­ни­ви­ми­ся в 10-20-е гг. в свя­зи с ря­дом исто­ри­че­ских об­сто­ятельств вуль­гар­но-по­ли­ти­зи­ро­ван­ны­ми оцен­ка­ми си­бир­ской куль­тур­ной сре­ды. Удар был на­несен пре­жде все­го по струк­тур­но­му яд­ру этой сре­ды – фор­ми­ро­вав­шим­ся в те­че­ние все­го ХІХ сто­ле­тия об­ла­ст­ни­че­ским воз­зре­ни­ям, ни­как не впи­сы­вав­шим­ся в кон­цеп­цию клас­со­вой борь­бы. Изъ­я­тие на­сле­дия об­ла­ст­ни­ков из кон­тек­ста ли­те­ра­тур­но­го раз­ви­тия края за­ко­но­мер­но про­вин­ци­а­ли­зи­ро­ва­ло его са­мо­быт­ную ли­те­ра­тур­ную тра­ди­цию, на­дол­го пре­вра­ти­ло ее в бес­сис­тем­ный на­бор вто­ро­сорт­ных с эс­те­ти­че­ской точки зре­ния тек­стов. Вне об­ла­ст­ни­че­ско­го по­ни­ма­ния ре­ги­о­наль­ной ли­те­ра­ту­ры про­бле­ма­тич­ным ста­ло са­мо вы­де­ле­ние ее в пред­мет ис­сле­до­ва­ния. Так, с 1920-х по 1980-е гг. в со­вет­ской фи­ло­ло­гиче­ской нау­ке по­ле­ми­че­ски про­ти­во­по­став­ля­лись два под­хо­да к иден­ти­фи­ка­ции ли­те­ра­ту­ры края – как пре­иму­щес­т­вен­но си­бир­ской «те­мы» в об­ще­рус­ской ли­те­ра­ту­ре (Б.И. Же­ре­б­цов, Г.Ф. Кун­гу­ров) и как со­об­щес­тва пи­са­те­лей, *свя­зан­ных* с жиз­нью об­ла­сти (Ю.С. Пост­нов). По­след­няя кон­цеп­ция ста­ла ме­то­до­ло­гиче­ской ос­но­вой фун­да­мен­таль­ных «Очер­ков рус­ской ли­те­ра­ту­ры Си­би­ри» (1982), яв­ив­ших­ся в свое время важ­ней­шим эта­пом ли­те­ра­тур­но­го си­бире­ве­де­ния.

Вместе с тем в прин­ци­пи­аль­ных во­про­сах раз­ви­тия рус­ской ли­те­ра­ту­ры на вос­то­ке стра­ны, на­уч­но­го из­да­ния важ­ней­ших тек­стов тра­ди­ции, по­сте­пен­ной ре­аб­и­ли­та­ции пре­дан­но­го в 20-е гг. остра­киз­му об­ла­ст­ни­че­ства, ос­мыс­ле­ния вза­имодей­ствия си­бир­ской куль­тур­ной сре­ды с пред­ставите­ля­ми цен­тра (клас­сиче­ский при­мер – декаб­ри­сты) спе­ци­а­ли­ста­ми во вто­рой по­ло­вине – кон­це ХХ в. сде­ла­но ис­клю­чи­тель­но мно­го. В этой свя­зи чрез­вы­чай­но ак­туаль­ны ра­бо­ты Н.А. Дво­рец­кой, Е.И. Дер­га­че­вой-Скоп, А.П. Ка­зар­ки­на, Ф.З. Ка­ну­о­вой, Н.Е. Мед­нис, В.Г.

Одинокова, Н.Н. Покровского, Ю.С. Постнова, В.Д. Рака, Е.К. Ромодановской, Н.В. Серебренникова, В.П. Трушкина, Б.А. Чмыхало, Ю.В. Шатина, Л.П. Якимовой, Н.Н. Яновского, А.С. Янушкевича и многих других авторов.

Предмет настоящего **исследования** – русская литература Сибири XIX – начала XX вв. Несмотря на очевидность исходного понятия – «литература Сибири» – четкое осознание его границ во многом проблематично. Это обусловлено тем, что объектом рассмотрения является традиция, инкорпорированная в многоуровневую литературную систему большей сложности (национальная литература), с которой в целом совпадает по ключевым признакам: языку, этапам эволюции и т.д., что, конечно же, существенно затрудняет выделение искомого объекта и может привести к неразличению предметов исследования, принадлежащих разным уровням системы. Вопрос об идентификации региональной словесности является принципиальным для изучения ее поэтики. Мы полагаем, что на первом плане должна находиться личность писателя, его *самосознание*, т.е. стремление ассоциировать свою деятельность с регионом, соотносить свою биографию с его исторической судьбой. Все это естественным образом воздействует на поэтику художественных текстов данного писателя: адресацию их, сюжетосложение, специфику авторской позиции и т.д. Наиболее рельефно самосознание интеллигента-сибиряка проявилось в деятельности областников второй половины XIX – начала XX вв.

Впрочем, утверждение системообразующей для областной словесности роли регионального самосознания решает далеко не все проблемы. Полагаем, что едва ли возможно просто разделить связанные с Сибирью тексты на позволяющие это самосознание реконструировать и, соответственно, не позволяющие, после чего приступить к изучению первых, отбросив вторые. Становление менталитета областной интеллигенции – сложный и неоднозначный процесс. Изучение его литературной составляющей порой заставляет исследователя обращаться к неожиданному, на первый взгляд, материалу, отбор которого в рамках литературного сибиреведения представляется чрезвычайно актуальной проблемой.

Так, один из разделов нашей работы будет посвящен выходявшим в Санкт-Петербурге в 1818-1827 гг. журналам Г.И. Спасского «Сибирский вестник» и «Азиатский вестник». Спасский не был уроженцем края, тем более не планировал что-либо публиковать на его территории. Более того, после прекращения издания журналов сибиреведческий интерес ученого и литератора отходит на периферию, уступая место увлечению археологией северного Причерноморья: Спасский надолго уезжает в Одессу, подобно тому, как в молодости почти на 14 лет уехал за Урал. Несмотря на «академизм» этой биографии, в которой изучение Сибири было пусть самым важным и известным, но все-таки эпизодом ученой карьеры, деятельность Спасского необходимо рассматривать в контексте формирующейся региональной словесности. Дело в том, что издатель «Сибирского вестника» оказался еще и литератором, оставившим оригинальные природоведческие и бытописательные тексты. Кроме того, в рамках своей журналистской работы он сформировал определенную стратегию воспроизведения русского Востока, которой подчинялись все отбираемые для публикации материалы. Наконец, напечатав тексты средневековых летописей о победе над ханством Кучума, Спасский определил границы репертуара классических произведений о Сибири. Можно ли без резуль-

татов его деятельности представить себе развитие в начале XIX в. собственно сибирского краеведения, предвестника будущей «областнической тенденции»? Ответ очевиден.

Более сложным примером является литературное наследие декабристов. Действительно, в публицистике, поэзии, эпистолярной и мемуарной литературе ссылки декабристам как никому из их предшественников удалось рельефно выразить амбивалентную знаковую природу Сибири, что в перспективе развития «сибирского текста» русской литературы было исключительно продуктивным достижением. Кроме того, их роль в сибирской жизни XIX столетия заключалась в интенсивном воздействии на общественную среду и формирующуюся интеллигенцию края. (Ср. известный факт распространения сочинений М.С. Лунина в среде сибиряков.) Именно это стало подлинным вкладом декабристов в становление областной литературы и культуры в целом. Чрезвычайно важны прецеденты их прямого воздействия на духовное и творческое становление писателей-сибиряков от М. Александрова и Д.П. Давыдова до П.П. Ершова и Н.М. Ядринцева. Однако прямой запрет на издание художественных сочинений, переводов и научных трудов исключил произведения декабристов из национального литературного обихода, создал барьер на пути взаимодействия с местными авторами, которое, в принципе, могло быть чрезвычайно плодотворным. Таким образом, определяющего влияния на собственно региональную словесность декабристское творчество периода сибирской ссылки не оказало, наиболее характерные тексты областной литературы 30-40-х гг., как, например, произведения П.А. Словцова, не позволяют увидеть следов воздействия декабристского мировоззрения. Отправленные после 14 декабря 1825 г. в Сибирь революционеры сыграли важную роль в повышении культурного уровня местного общества, что косвенно, безусловно, стимулировало развитие регионального самосознания, однако вызвать его к жизни напрямую не могло, рождение этого самосознания проходило внутри самого общества под воздействием иных обстоятельств.

В центре нашего внимания будут находиться произведения сибирских авторов XIX – начала XX вв., влиявших, соприкасавшихся или непосредственно участвовавших в становлении и развитии областнической традиции. Это тексты П.А. Словцова, П.П. Ершова, И.Т. Калашникова, Г.И. Спасского, А.П. Щапова, И.В. Федорова-Омулевского, Н.М. Ядринцева, Г.Н. Потанина, А.Е. Новоселова, Г.Д. Гребенщикова.

В методологии работы сочетаются принципы структурно-семиотического и историко-функционального методов анализа.

Новизна исследования заключается в следующем. Впервые литературная традиция Сибири XIX – начала XX вв. рассмотрена как целостная, закономерно развивающаяся поэтическая система, прошедшая ряд этапов – от конструирования мифопоэтического образа Сибири в комплексе произведений еще не дифференцированных на собственно областные и принадлежащие общерусской литературе к выработке первых представлений о будущей словесности (П.А. Словцов), адаптации к региональным условиям некоторых жанровых моделей литературы центра до формирования требований к писателю-сибиряку, концепции областнического

романа и т.д. Этот основополагающий принцип анализа материала обусловил другие особенности диссертации, а также новые аспекты исследования.

1. Установлено, что в древнейших воззрениях на Зауралье присутствует целый ряд мотивов, связанных с мифопоэтической картиной мира;
2. На примере сюжета о Ермаке изучено осуществлявшееся с начала колонизации Сибири литературное взаимодействие центра и окраины;
3. В творчестве П.А. Словцова, относящемся к первой половине XIX в., выявлен синкретический сплав научно-описательной и беллетристической традиций, взаимовлияние которых характеризует специфику сибирской литературы в целом;
4. Исследована эволюция точки зрения повествователя, которая, находясь в непосредственной связи с развитием писательского самосознания, актуализируется в региональной литературной системе начиная с романов И.Т. Калашникова;
5. Описан характерный для областнического периода сибирской словесности (вторая половина XIX в.) процесс выработки ценностно отмеченной позиции «внутреннего» наблюдателя, писателя-«патриота»;
6. Доказано, что проза начала XX в. тесно связана как с литературно-критическими воззрениями «старших» областников, так и с жанровыми, характерологическими, сюжетными исканиями их предшественников;
7. В научный оборот введен пласт архивного материала из фондов Г.И. Спасского (Государственный архив Красноярского края), П.А. Словцова и И.Т. Калашникова (ОР РНБ, РО ИРЛИ), Г.Д. Гребенщикова (РГАЛИ, ГМИЛИКА), что позволило более зримо представить сам процесс поисков сибирских литераторов в области регионального самосознания и поэтики.

Научно-практическая значимость диссертации. Полученные в процессе исследования результаты позволят конкретизировать имеющиеся представления о территориальной локализации русской литературы, о работе механизма взаимодействия между литературным центром и периферией. Кроме того, введенные нами в научный оборот архивные материалы могут быть востребованы в эдиционной практике – при издании и комментировании научного, художественного, публицистического и эпистолярного наследия Г.И. Спасского, П.А. Словцова, И.Т. Калашникова, Г.Н. Потанина, Г.Д. Гребенщикова. Это тем более актуально, что многие их тексты до сих пор не известны читателю и заслуживают републикации или извлечения из архивов для первой публикации. Представленные в диссертации наблюдения, примеры анализа текстов могут быть использованы в лекционных курсах по истории русской литературы XIX – начала XX вв., специальных курсах по теории и истории регионализма в России.

Апробация работы. Содержание диссертации отражено в ряде докладов, прочитанных на всероссийских и международных научных конференциях: «Американский и сибирский фронт» (Томск, ТГУ, 2001 г.), «Проблемы литературных жанров» (Томск, ТГУ, 2001 г.), «Сибирский текст в русской культуре» (Томск,

ТГУ, 2002 г.), «Интерпретация художественного произведения: сюжет и мотив» (Новосибирск, СО РАН, 2003 г.), «Мир и общество в ситуации фронта: проблемы идентичности» (Томск, ТГУ, 2003 г.), «Мировоззренческие реконструкции традиционного сознания в евроазиатском сообществе: стереотипы и трансформация» (Томск, ТГУ, 2003 г.), «Алтайский текст в русской культуре» (Барнаул, АГУ, 2004 г.), «Евроазиатский культурный диалог в коммуникативном пространстве языка и текста» (Томск, ТГУ, 2004 г.). Материалы диссертации использовались при разработке специального курса «Проблемы истории и поэтики литературы Сибири», читавшегося автором в Красноярском государственном педагогическом университете в течение 1998-2002 гг. По теме диссертации опубликовано 18 работ, в числе которых монография и два учебных пособия.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается тема диссертации и ее актуальность, излагается историография проблемы, определяются цели, задачи и материал исследования. Особое внимание уделено лежащим в основе работы методологическим принципам.

Первая глава – «Становление сибирской областной словесности. Взаимодействие литературных систем центра и региона» – состоит из двух разделов.

В первом из них – «Сибирь как историко-культурный ландшафт: Фактор границы (“столичная” и “региональная” позиции наблюдателя)» – освещается важная особенность сибирского литературного регионализма – семиотическое конструирование Сибири как специфического историко-культурного ландшафта. Полагаем, что рассматривать литературную традицию, связанную с тем или иным пространственным ареалом, едва ли возможно без анализа вырабатываемых национальной культурой основных семантических параметров данного ареала. В этом смысле первый раздел главы соприкасается с распространенными в русской филологической науке исследованиями территориальных «текстов». Традиционное для множества произведений, ассоциирующихся с Сибирью, взаимодействие двух способов ее оценки – извне как «далекой окраины» и изнутри как «своей земли» – закономерно актуализирует мотив границы, той знаковой линии, по мере приближения к которой осмысление территории в категориях «своя – чужая» становится единственно возможным для наблюдателя. Уральский горный хребет, природная разграничительная линия между Сибирью и Россией, интенсивно символизировался именно в этом качестве, становясь также для формирующейся региональной словесности важным фактором самоопределения, выделения «себя» из пространства «иног».

Второй раздел первой главы – «Типологические и функциональные аспекты сюжета о Ермаке» – связан с предыдущим в методологическом отношении. Идея преодоления рубежа является одной из ключевых как в самом историческом сюжете о походе Ермака, так и в большинстве его литературных обработок. «Он первый родины прешел границы // И в чуждый край помчал разбой и брань», – так ус-

тами одного из персонажей охарактеризовал своего героя А.С. Хомяков, автор трагедии «Ермак» (1826). Мотивы выхода вовне, разрыва со старыми связями и обретения нового качества, присущие любому сюжету о пересечении героем некоей символической черты, играют важную роль в процессе становления Сибири как одного из национально значимых историко-культурных ландшафтов. Одновременно этот раздел представляет собой опыт исследования своеобразного «взаимообмена» литературными темами и сюжетами между центром и сибирской окраиной. В рамках этого «взаимообмена» сюжет о Ермаке обладает, как нам кажется, максимальной репрезентативностью.

Очевидно, сразу же после экспедиции Ермака и закрепления территории Кучумова ханства за московским царем возникло два подхода к осмыслению обширных пространств Зауралья. Один – официозный – трактовал победу русского воинства над сибирскими язычниками и магометанами как реализацию провиденциального замысла. Враждебная прежде территория быстро, подобно самой Руси эпохи крещения, превращалась в христианскую землю (особенно показательна в этой связи Есиповская летопись, 1636 г.). Это культурное «присвоение» новообретенного царства закономерно приводило к осмыслению его как продолжения самой Руси. Одновременно наметилась другая тенденция, связанная с некоторым отчуждением Сибири. Правительственные решения, касающиеся учреждения за Уралом архиепископии, назначение в Тобольск наиболее родовитых воевод, наконец, создание в 1637 г. Сибирского приказа подчеркивали высокий статус новых земель, способствовали «возникновению и укреплению областнических взглядов в среде сибиряков, воспринимавших Сибирь как особое государство» (Е.К. Ромодановская). Эти меры, поднимавшие внутригосударственный престиж Зауралья и парадоксальным образом не соответствовавшие традиционной для Московии нивелировке очагов местной оригинальности, накладывались на распространявшееся в народной массе фольклорное отношение к отдаленной земле как к радикально *иному* миру – амбивалентному сочетанию взыскуемой утопии и порицаемого иноверия.

Культурные усилия метрополии за Уралом привели к двум закономерным, но противоположным по своей внутренней природе результатам. Первый и самый очевидный: создание инфраструктуры (остроги, церкви и монастыри, отправленные в Тобольск и другие города образованные военные, священники и администраторы) стимулировало развитие словесности, которая не замедлила появиться – в 1622 г. в Тобольске по указанию архиепископа Киприана составляется Синодик ермаковым казакам. Второй, уникальный для национального культурного опыта результат, заключался в том, что зародившаяся внутри колонизируемых земель литературная традиция, русская в языковом отношении, была проникнута сознанием того, что территорией ее появления на свет является не Россия – противопоставление России и Сибири держалось в языковом узусе и культурном самосознании очень долго. Со временем, однако, привыкнув к окружающей обстановке, русский человек корректировал свою точку зрения на самую обширную колонию империи, все чаще склоняясь к оценке ее как своей родины. Эта тенденция обнаружит себя в творчестве С.У. Ремезова (конец XVII – начало XVIII вв.) и достигнет своего предела в деятельности и публицистическом наследии областников второй половины XIX столетия.

Однако на первых порах Зауралье рассматривалось преимущественно в мифопоэтической перспективе, роль различных приемов *остранения* этой территории была очень существенна. Областной писатель, представитель собственно сибирской словесности, вошедший в литературу много позднее, должен был не только донести до читателя индивидуальный взгляд на Сибирь, но и отреагировать на сумму воззрений, длительное время транслировавшихся извне. Гиперболические описания Уральских гор занимали в системе этих воззрений важное место.

Издавна Урал расценивался как символическая реальность, наделенная статусом границы между Россией и Сибирью, между Европой и Азией. С Урала начинается уже «не Россия». Это русский дипломат, землепроходец, ссыльный XVII и последующих веков осознавал прекрасно. Восприятие «Камня» как границы закономерно привело к возникновению в различных текстах специфического «уральского» образного и знакового поля: оценки хребта нередко отличал нарочитый гиперболизм, а простирающаяся к востоку от него территория приобретала экзотический облик.

Информацию, судя по всему, непосредственно связанную с Уралом, находим в Мазуринском летописце конца XVII в., где в самом начале рассказывается об обширности владений легендарных Словена и Руса. Земли их доходили «... даже и до предел Ледовитаго моря и ... по великим рекам Печери и Выми и *за высокими и непроходными горами* во стране, рекомая Скир, по великой реке Оби и до устья Беловодныя воды, ... тамо беруще дорогою ценою звери ... соболи». Приведенный пример характерен именно потому, что чудесные и диковинные явления, как, например, упомянутая «Беловодная вода», которая «бела, како млеко», помещаются за «непроходными» горами: мифологизированная география требует четкого отделения мира обыденного от ирреального. Появляющийся в таком случае гиперболизм отдельных мотивов и оценок обязателен. Вне зависимости от своей подлинной географической референции, данный эпизод Мазуринского летописца наиболее близок к образному инварианту Урала. Несколько ранее схожую характеристику привел Савва Есипов в своей летописи, завершенной в 1636 г. «Сих же царств Росийскаго и Сибирьские земли, облежит Камень превысочайший зело, яко досязати инем холмом до облак небесных, тако бо Божиими судьбами устроишь, яко стена граду утвержена». Дальнейшая судьба гиперболических образов, подобных двум приведенным, заключалась в их снижении, что мы наблюдаем у Юрия Крижанича («История о Сибири», ок. 1680 г.), Г.Ф. Миллера («История Сибири», 1750 г.), и, наконец, полном развенчании (Н.Я. Данилевский «Россия и Европа», 1871 г.). Впрочем, наряду с этой тенденцией, продолжало существовать и типичное восприятие «Камня» как сакраментального рубежа, способного разделить на две части не только Евразию, но и человеческую судьбу.

Древнейшим примером сверхмифологичной рецепции Урала является известный фрагмент Повести временных лет, где под 1096 г. помещен рассказ Гюряты Роговича о югорских землях, восходящий в сюжетном отношении к эсхатологическим легендам об Александре Македонском и народе Гога и Магога. В непосредственном источнике этого летописного эпизода, апокрифическом «Откровении» Мефодия Патарского, говорится о том, что Александр согнал «сынов Иафетовых» «до пределъ северныхъ» и заключил их за двумя горами, затворив *медными* (в ряде списков – *железными*) воротами. Эсхатологическую перспективу

сюжету придает пророчество Мефодия об освобождении «нечистых народов» от их плена в конце времен. Составитель Повести временных лет приводит этот сюжет на страницах летописи почти полностью. Топоним *Железные ворота* был очень популярен в книжности Древней Руси и, несмотря на то, что обычно приурочивался к Кавказскому городу Дербенту, сыграл свою роль в создании мифологизированных представлений о Сибири. Так, топоним читается в неоднократно интерпретировавшейся летописной статье 1032 г. о гибели где-то за Железными воротами дружины новгородца Улеба.

Выявить историческую основу этих сведений исключительно сложно, поэтому комментаторы летописного текста получали возможность отстаивать самые разные версии. Для формирования образа Сибири важными оказались наблюдения В.Н. Татищева, в работах которого («История Российская» и «Лексикон российский исторический, географический, политический и гражданский») известия о Железных воротах летописной статьи 1032 г. объединяются с эсхатологическим сюжетом, изложенным в Повести временных лет под 1096 г. Урал при таком толковании оказывается эквивалентным далекой северной местности, где за «двема горама» были заключены «нечистые народы», а Железные ворота меняют свою традиционную кавказскую локализацию на уральскую. По большому счету Татищев, объясняя загадочный летописный эпизод, возводит его к уже существующей сюжетно-мифологической схеме и вовсе не пытается обнаружить конкретно-историческую подоплеку событий 1032 г. Исторический факт рассматривается им сквозь призму готового *литературного* сюжета, а ученое толкование странным образом становится продолжением мифологии.

Интересно, что Татищев со своими курьезными в научном плане предположениями был не одинок. Аналогичная тенденция символически отождествлять Урал с эсхатологической горной преградой присутствует в народной культуре, в устных рассказах уральских старожилов (одно из преданий, записанных Вас. Ив. Немировичем-Данченко, на которое в 1961 г. обратила внимание В.П. Кругляшова), а также в историографии XIX в. Например, видные сибиреведы А. Оксенов и И.В. Щеглов присоединились к гипотезе Татищева, посчитав летописную информацию свидетельством давних русских походов «к западным склонам Уральских гор» и даже к Сибири. Так эсхатологическая концепция русского Зауралья из пространства мифа входит в сферу науки. Уральские горы со своей репутацией границы, рубежа словно перетягивают на себя древнюю эсхатологическую легенду.

Формирующаяся в литературе мифопоэтика границы между Россией и таинственными восточными землями создает условия для тиражирования способов художественного воспроизведения Урала и превращения их в стилистико-поэтические топосы. Так, начальный эпизод ряда сибирских летописных памятников, в котором «Камень» соотнесен со «стеной», «досягающей» «до облак» и окружающей «град», будет, различным образом трансформируясь, появляться в произведениях Саввы Есипова, Семена Ремезова, протопопа Аввакума, а в новое время – в многочисленных текстах поэзии местного колорита. Отметим в качестве примера стихотворение И.В. Федорова-Омулевского «Счастливый сон» (1883). В течение своего многолетнего функционирования рассматриваемый образ обретает клишированный характер, что позволяет говорить о выработке не только ценностной перспективы, но и азов художественного языка описания русского Востока.

Дальнейшее изучение образного параллелизма «горы – стена» позволило выявить его связи с литературной иконографией рая (ср. апокриф «Сказание отца нашего Агапия»). При этом функциональные особенности образа сделали его чрезвычайно привлекательным для возникающей в Сибири во второй половине XIX в. литературы областнического направления, в которой чрезвычайно интенсивно эксплуатировался мотив пересечения границы (очерк Н.М. Ядринцева «На чужой стороне», 1872 г.).

Отмеченные особенности восприятия Сибири, представленные в «уральских» разделах средневековых текстов и произведений нового времени, являются свидетельствами не раз отмечавшейся двойственности сибирского литературного пейзажа (ср. работы Н.Н. Курдиной, Н.Е. Меднис), совмещавшего в себе противоположные оценки – от ужаса перед чужим и неведомым миром до утопических надежд на «обетованную землю». Анализ «горной» топики позволяет исследователю увидеть данную закономерность и на материале наиболее ранних исторических источников рассмотреть один из важнейших семантических параметров Сибири как историко-культурного ландшафта. Совершенно закономерно, что другой важнейшей его характеристикой, без которой художественная концепция Сибири была бы невозможна в принципе, становится выработка концепции человека, связанного с новым территориальным миром. Начиная с самых ранних текстов о Сибири в роли героя, прочно с ней ассоциирующегося, оказывается Ермак.

Сюжет о Ермаке является ярким примером взаимодействия региональной словесности с литературной традицией центра. Произведения, в которых история Ермака была освещена наиболее подробно, появились в самой Сибири или на территориях, непосредственно к ней примыкавших. Это Синодик ермаковым казакам, Строгановская и Есиповская летописи, Кунгурский летописец, «История Сибирская» С.У. Ремезова (об этих памятниках ранней сибирской литературы см. фундаментальные исследования Е.И. Дергачевой-Скоп и Е.К. Ромодановской). Тем не менее общенациональную популярность победитель Кучума завоевал после активного освоения малоизвестных памятников столичными литераторами: Н.М. Карамзиным, К.Ф. Рылеевым, Н.А. Полевым, А.С. Хомяковым, П.П. Свиньиним и др.

Сюжет о Ермаке рассматривался в нашей науке неоднократно, однако почти во всех исследованиях к анализу привлекался материал преимущественно из какой-то одной сферы его бытования: фольклорной или книжной, причем в последнем случае древнерусский период развития сюжета и его репрезентации в словесности нового времени также изучались изолированно друг от друга. Действительно, на первый взгляд, известия о Ермаке, распространенные в памятниках литературы и фольклора, являются очень разноречивыми. Эта ситуация усугубляется межжанровым характером бытования сюжета, в который та или иная жанровая формация (от топонимической легенды до жития) привносит присущие только ей элементы. Вместе с тем во всей совокупности текстов о Ермаке выделяется ряд константных элементов, позволяющих говорить о сюжете как о целостной системе мотивов. Прежде всего, это единство главного героя и основного события (покорение Сибири), не подвергающиеся сомнению нигде: от книжных памятников и наиболее популярных исторических песен, до преданий, записанных во второй половине XX века. Кроме того, обращает на себя внимание глубокая связанность мо-

тивов фольклорного и книжного происхождения, а также компактность территории их распространения.

Специалистами по устной поэзии Ермак не раз интерпретировался как герой, выражающий идею социального протеста (работы фольклористов Б.Н. Путилова, А.А. Горелова, Л.С. Шептаева). Действительно, некоторые мотивы сюжета о Ермаке оказались вовлечены в цикл песен о Степане Разине, произошла контаминация двух сюжетов.

Вместе с тем в типологической перспективе Ермак не Разин и не Пугачев. Перед нами исторические фигуры двух разных типов. Если последние действительно возглавляли народные восстания, то Ермак действовал скорее *в интересах* государства, если Разин и Пугачев – преступники в глазах верховной власти, то Ермак авторами официальных текстов Тобольской архиепископии (Синодика и Есиповской летописи) был осмыслен как христианский подвижник. Между тем в поэтике исторических песен Ермак все же ассоциирован с идеями бунта и разбоя.

Несмотря на то, что в науке не удалось пока с исчерпывающей убедительностью установить причастность или непричастность Ермака Тимофеевича к грабёжам и погромам, предшествовавшим его походу в Сибирь, превращение героя в «заворуя» подчинено определенной *художественной* логике. Вероятно, даже при наличии у современников Ермака данных о его преступлениях, красочный сюжет о каспийском пирате, который в решающий момент своей жизни раскаялся и решил замолить грехи, совершив, как пишет А.А. Горелов, «подвиг во имя Родины», испытал сильное воздействие со стороны фольклорного мифотворчества. Его суть заключается в создании единой типологии героя и пространства, с которым он по воле истории оказался связан. Центральным эпизодом биографии исторического Ермака Тимофеевича стало взятие Сибири. Как справедливо полагает В.В. Блажес, событие всероссийского значения, акция Ермака сыграла роль катализатора процессов сюжетосложения в сфере народного эпоса, привела к «стягиванию» различных мотивов к имени атамана, который в результате стал утрачивать черты исторической личности, превращаясь в фольклорного, а затем и литературного персонажа.

Сильнейшим мифогенным фактором в легендарной биографии предводителя казаков является собственно Сибирь. Ее образ в исторических песнях и народных преданиях мало конкретен, зачастую она лишь указывается как направление смелого похода, однако в целом ситуация ухода горстки храбрецов от преследования власти за крайний рубеж государства и победа над расположенным за этим пределом вражеским царством в мифопоэтическом отношении представляется чрезвычайно продуктивной. Кроме того, известность Сибири как предела географической отдаленности не могла не воздействовать на структуру личности героев, которые, и без того находясь на границе русского культурного мира, осуществляют прорыв в направлении неведомых восточных территорий. Думается, что историческая миссия подобного масштаба, да еще изначально связанная с идеей преображения реализующего ее героя, вряд ли могла быть возложена носителями фольклорного сознания на «ординарного» представителя эпохи. Здесь требовался необычный персонаж, неординарность которого в условиях традиционного социума означала прежде всего конфликтность относительно главного общественного института – власти. Репертуар подобных героев в художественном мире устной поэзии был

невелик, и фигура «разбойника» в таком сюжете оказывалась эстетически и идеологически наиболее уместной.

Если в исторических песнях поход казаков – это самостоятельный, успешный, но при этом авантюрный захват периферийного мира, предпринятый отщепенцами, то в системе церковной культуры то же самое событие преобразуется в апостольскую миссию, что совершенно неизбежно возвращает Ермака из семиотического пространства маргинальности в аксиологический центр культуры.

Полярность такого рода оценок героя дополняется принципиальной поливалентностью самого сюжета о Ермаке, его способностью сочетаться с родственными по генезису сюжетными традициями. Близкими Ермакову сюжету являются цикл исторических песен о взятии Казани и литературный памятник XVI в. «Казанская история». Типологическая близость просматривается в связи с мотивами воцарения, покорения враждебного царства как символического брака¹. Данный комплекс мотивов позволяет говорить о типологическом родстве образов Ермака и Ивана Грозного.

Параллелизм этих исторических фигур представляется неслучайным. Ермак и Грозный как герои обнаруживают вполне определенное тяготение навстречу друг другу. В социологическом отношении оппозиционная энергия Ермака совершенно отчетливо направлена на бояр, но никак не на царя. С последним атаман всякий раз достигает компромисса: царские корабли на Каспии были ограблены, согласно объяснениям героя, потому что были не «орленые», Казань взята в союзе с Грозным, Сибирь захвачена и преподнесена московскому правителю в знак искупления прежних вин и т.д. Взятие Сибири и Казани как военные акции, направленные во вне и позволяющие их инициаторам обрести царственный статус, парадоксальный облик Ермака – разбойника, но и союзника верховной власти, – все это в итоге образует сложный сюжетный комплекс, вовлекающий в орбиту своего воздействия различные исторические события, плод усилий совершенно разных деятелей, объединяющихся лишь на уровне символических аналогий, сюжетной типологии. Принципиальной задачей формирующихся таким образом сюжетов представляется попытка осмыслить исторические драмы (положительные по своему влиянию на народную жизнь или отрицательные – безразлично), которые Русь в период становления Московского государства будет переживать регулярно. Свержение ига, венчание на царство первого царя, опричнина, покорение Сибири, пресечение княжеской династии и Смуты, первые крестьянские войны – вот условия, затребовавшие от культуры оформления образа героя-маргинала, отщепенца-бунтаря, с легкостью преодолевающего социальную дистанцию от волжского пирата к правителю, в то время как правитель официальный, осмысливаясь в качестве «реформатора» и ниспровергателя устоев, типологически может тяготеть к разбойнику, своему антагонисту в «обычной» жизни.

Следующим важнейшим этапом развития сюжета о Ермаке стала эпоха романтизма. Действительно, отчетливо фиксируемый библиографами взрыв интереса к завоевателю Сибири приходится на 1810-1840-е гг., когда появляются самые значительные образцы сюжета, включая хрестоматийные IX том «Истории» Н.М.

¹ Связь образного строя исторических песен XVI в. и «Казанской истории» специально рассматривалась в монографии М.Б. Плюхановой «Сюжеты и символы Московского царства» (СПб., 1995); влияние «Казанской истории» на Есиповскую летопись изучено Е.К. Ромодановской.

Карамзина и «Смерть Ермака» К.Ф. Рылеева. Системное освоение «сибирского» материала в начале XIX в. приводит к тому, что в аспекте сюжетологии и концепции героя фигура казачьего атамана начинает почти безусловно ассоциироваться с Зауральем. Пример тому находим в пушкинском «Воображаемом разговоре с Александром I». Здесь поэт, представляя себя царем, ссылает «Пушкина» в Сибирь, «где бы он написал поэму “Ермак” или “Кочум”, разными размерами с рифмами» (убедительную реконструкцию пушкинского замысла поэмы о Ермаке см.: Альтшуллер М.Г. Между двух царей. Пушкин 1824–1836. СПб., 2003. С. 117-144.)

Приступая к описанию деяний дружины Ермака в Сибири, Н.М. Карамзин в IX томе «Истории государства Российского» отметил, что «они, как все необыкновенное, чрезвычайное, сильно действуя на воображение людей, произвели многие басни, которые смешались в преданиях с истиною и под именем летописаний обманывали самих Историков». Историческая правда в цикле произведений на тему покорения Сибири действительно неотделима от баснословия и мифотворчества. И если влияние устной стихии было ощутимо даже в начале XVII в., когда еще были живы помнившие реального Ермака участники Сибирского взятия, то в XIX столетии казачий атаман превратился в фигуру литературную по преимуществу. Роль своеобразного катализатора в процессе поэтического освоения темы Ермака сыграл вышедший в 1821 г. IX том «Истории государства Российского».

Опираясь на предоставленную ему в 1820 г. Г.И. Спасским Строгановскую летопись, Карамзин, тем не менее, стремился избежать прямой компиляции и в итоге создал свою оригинальную версию как похода, так и самой личности Ермака. Во многом переосмысливая скупой текст своего источника, историограф сделал акцент на фольклорной теме нравственной реабилитации Ермака после победы над Кучумом, возвращения себе легитимного статуса, что в сюжетологическом отношении перекликается с характерной для «сибирского текста» идеей перерождения человека (см. работы Ю.М. Лотмана, В.И. Тюпы).

Интерес к Ермаку в Сибири, сохранявшей, по-видимому, отголоски старинных известий о победителе Кучума, активизировался в этот же период – после появления в литературном и научном обиходе Строгановской летописи, привлеченной в качестве важнейшего исторического источника Н.М. Карамзиным и почти одновременно опубликованной Г.И. Спасским.

В региональной словесности XIX в. сюжет о Ермаке оказался вовлечен в структуру целого ряда художественных и публицистических произведений. К эпопее Ермака обращались П.П. Ершов, опубликовавший в 1838 г. поэму «Сузге», Н.М. Ядринцев, посвятивший походу Ермака большую часть юбилейной статьи «Трехсотлетие Сибири» (1881). Кроме того, обращения к образу легендарного атамана могли носить неявный характер, когда исходная структура сюжета наполнялась другими именами и помещалась в контекст иных, зачастую вымышленных, исторических реалий. В таком случае первоначально связанные с образом Ермака мотивы, утратив привычную референцию, начинали играть роль стилистического средства в поэтике текста, создавая реминисцентную ситуацию в произведении и словно намекая читателю на сюжет-прообраз. Пример такого обращения с сюжетом мы встречаем в романе И.Т. Калашникова «Дочь купца Жолобова» (1831).

Из числа этих произведений со своими фольклорными прообразами в наибольшей степени соотносится поэма П.П. Ершова, на страницах которой воссозда-

на трагедия замкнутого идиллического мира, подвергающегося вторжению извне, а судьба героини проецируется на тему брака. Персонаж романа И.Т. Калашникова разбойник по имени Буза, на первый взгляд, никак не связан со структурой сюжета о Ермаке, однако анализ текста приводит к другому выводу. Поэтика образа, на которой сказалась, главным образом, топика известной думы К.Ф. Рылеева, соотносится с мотивами Ермакова сюжета (разбойничество героя, биографическая связь с Волгой, приход в Сибирь, гибель в воде во время бури). И хотя Ермак и Буза в ценностно-идеологическом отношении несопоставимы, творческая задача создать образ героя из сибирской жизни, близкого при этом к идее «отверженности», в целом закономерно привела к своеобразной омонимии мотивов, к проекции Ермакова сюжета на ряд фрагментов романа «Дочь купца Жолобова». В этом, в свою очередь, нельзя не видеть одну из первых попыток разработать принципы поэтики регионального художественного произведения.

Наконец, интересную версию сюжета о Ермаке дает нам областническая публицистика второй половины XIX в. Здесь Ермак как очевидно идеологизированный образ впервые появляется в тексте прокламации «Сибирским патриотам» (1863). Таким образом, в самом начале развития областнической традиции был сформулирован открыто тенденциозный способ восприятия обстоятельств Сибирского взятия и личности его главного действующего лица. Статья Н.М. Ядринцева «Трехсотлетие Сибири» в целом продолжает эту традицию, хотя, конечно, политический компонент здесь существенно редуцирован. Областник чутко уловил ключевую интонацию Ермакова сюжета: порыв русских людей вовне, за пределы их традиционного историко-географического ареала. В спектре качеств Ермака Н.М. Ядринцевым выделяются важнейшие – в первую очередь, *самостоятельность*, способность действовать без всякой помощи со стороны. Это качество особенно ценно для Ядринцева – теоретика областнического движения, отстаивавшего идею самобытности Сибири, непохожести сибиряка на представителей «славяно-русской расы». Стремление Ермака обосноваться в Сибири надолго заставляет его принести «свои личные расчеты в жертву своему делу и более высоким целям», быть «не корыстолюбивым разбойником, но политическим человеком». Эти качества впоследствии проявятся в русском жителе Зауралья. «Сибирское население, жившее вне опеки крепостного права, давно приобрело навык к самоуправлению, а борьба с обстоятельствами сделала его развитым, бойким и предприимчивым». Необходимость надеяться только на себя, стремление к лучшей доле соединялись с ярким индивидуализмом предводителя похода. Сочетание этих черт – самостоятельности и индивидуализма – в сущности, является ядром областнических представлений об «идеальном» сибиряке, создавшем своеобразную цивилизацию вдалеке от государственной опеки и контроля. Подобные же черты будут отыскиваться Ядринцевым в образе жизни сибирских старообрядцев и становиться принципиальным аспектом рассуждений областника о «сибирском» характере, типе героя из местной жизни. Так или иначе, все эти поиски были неразрывно связаны с фигурой Ермака, которого Ядринцев, солидаризируясь с пафосом областнических прокламаций начала 60-х гг., недвусмысленно считал не просто завоевателем края, но первым эмигрантом в Сибирь. «Ватага Ермака не была случайностью, это была первая партия эмигрантов, выкинутая в Сибирь Древней Русью, где в это время был клокочущий котел движений».

Как мы видим, важнейшие этапы формирования и развития региональной сибирской литературы ознаменовались тесными связями последней с культурной традицией центра; без этих связей сибирский регионализм едва ли мог состояться в принципе. Однако уже на первых порах литературная среда восточных рубежей России имела возможность развивать собственные сюжеты и темы в области исторического повествования и агиографии, впоследствии как бы «делясь» ими со словесностью столиц. Такова была судьба сюжета о Ермаке, превращенного сначала тобольскими книжниками в «местного» героя и обретшего национальное значение только после того, как исторические источники XVII в. были включены в научный и читательский обиход эпохи романтизма. Другим важнейшим аспектом взаимодействия стал дуализм писательской точки зрения на Сибирь. Будучи не просто очередным княжеством, присоединенным к Московскому государству, но являясь особым, колоссальным по своему масштабу и отдаленности от государственного центра территориальным миром, овладение которым в историческом отношении было очень быстрым, Сибирь со своими специфическими реалиями неизбежно формировала у русского человека особую перспективу наблюдения и оценки самой себя. В структуре этой оценки преобладали разнообразные приемы остранения, гиперболизации, мотивы, связанные с мифопоэтической картиной мира и т.д. Данная позиция, однако, не могла доминировать долго, поскольку мировоззрению и самосознанию постоянно живущего на сибирской территории человека (а таких людей за Уралом год от года становилось больше) вся совокупность этих приемов была чужда. Культурный слой местных уроженцев должен был рано или поздно что-то противопоставить транслирующейся извне «поэтике отчуждения». Медленно формировавшееся региональное самосознание образованного сибиряка впервые предстает как системное явление в начале XIX столетия, в период первого взлета сибирского краеведения. Этот этап становления сибирской областной словесности подробно рассматривается нами в следующей главе работы.

Вторая глава диссертации «Поэтика литературы Сибири 10-30-х годов XIX столетия» посвящена развитию на востоке России первых представлений о литературном творчестве в новую эпоху, изучению культурных условий, в которых это творчество проходило, анализу наиболее знаковых произведений, вышедших в это время из-под пера писателей-сибиряков. В центре внимания находится научное, эстетическое и художественное наследие П.А. Словцова, журналы Г.И. Спасского «Сибирский вестник» и «Азиатский вестник», романы И.Т. Калашникова.

Как убедительно показал в своих работах М.К. Азадовский, первая треть XIX века в литературной истории Сибири ознаменовалась расцветом краеведения, стала поистине эпохой «литературного пробуждения Сибири, первого ее художественного самоосознания». Активное становление словесности региона началось после литературного «безмолвия», продолжавшегося в течение почти всего XVIII столетия, и оказалось связанным с фундаментальными изменениями в системе национальной культуры. Крушение классицистических художественных приоритетов, открытие в эстетике сентиментализма и романтизма этнографической пестроты, индивидуальности ландшафта создало объективные предпосылки для интенсивного литературного освоения экзотического мира русских колоний на востоке.

Между тем интерес к Зауралью зависел не только от факторов собственно литературного развития, он также был продиктован рядом важнейших изменений в области национально-государственного самоопределения, происходивших в течение всего послепетровского периода русской истории. Сибирь выходит из странства мифопоэтических оценок средневекового типа в первой половине XVIII в., когда в результате петровских преобразований возникает новое, исключительно политическое самоопределение Российской империи как просвещенного государства европейского образца. Восприятие европейской модели государственности включало в себя обязательное условие: поиск аналогий колониальному миру метрополий Старого света. Входящая в сообщество европейских наций Россия по примеру своих политических партнеров обязательно должна была располагать территориями «неевропейскими». На роль таковых историк и один из пленцов гнезда Петрова В.Н. Татищев предлагает Сибирь, границей между нею и «европейской» Россией становится Уральский хребет². Искусственно синтезированная политическая модель закономерно предполагала сдвиги в знаково-символической области восприятия Зауралья.

Сибирь принципиально отличалась от европейских колоний в Ост- и Вест-Индии своим непосредственным соприкосновением с «материнской» территорией России. Это обстоятельство должно было предполагать постепенную ментальную ассимиляцию восточных окраин, их включение в единый контур единой страны. Однако ожидаемому ментальному «выравниванию» соприкасающихся и взаимосвязанных территорий на рубеже XVIII – XIX вв. был противопоставлен характерный для европейских культур принцип экзотизации географического *иного*, закономерно предполагающий специфическую поэтику его исторического осмысления и художественного воспроизведения. Одним из наиболее известных элементов такой поэтики является череда уподоблений Сибири «нашему Перу», «нашей Мексике», «русской Бразилии», а ее завоевателей соответственно «Кортецам и Пизарро». В этой перспективе Сибирь рассматривалась как экзотическая инациональная окраина, аналог американских владений европейских держав, а весь интерес фокусировался в области ее этнической инаковости.

Взгляд на Зауралье, таким образом, приобрел заведомую ангажированность, что способствовало усиленной семиотизации русского Востока вообще и создавало определенный типологический фон для литературных воспроизведений края, в частности. Писательская и публицистическая деятельность П.А. Словцова, И.Т. Калашникова, Н.С. Щукина, П.П. Ершова, Н.А. Полевого, Г.И. Спасского и др. проходила в самой сердцевине этих непростых мировоззренческих процессов, напрямую связанных с опытом политико-государственного самоопределения, с выработкой национальной картины мира в начале XIX в.

Если в XVIII в. интеллектуальное освоение Сибири было отдано на откуп академической науке и в литературу плоды ученых изысканий первого поколения сибиреведов попадали лишь эпизодически, то в XIX столетии всеобщая – и ученая, и литературная – заинтересованность восточными территориями России сформировала весьма плодотворную зону контакта между чисто научными и литературно-поэтическими принципами их описания. В этот период изящная словес-

² Bassin M. Russia between Europe and Asia: The Ideological Construction of Geographical Space // Slavic Review. 1991. Vol. 50. № 1. P. 5-7.

ность, воссоздающая жизнь далеких земель, закономерно совмещалась с географией и природоведением. Одним из ярких примеров такого стилистико-поэтического синтеза стало творчество П.А. Словцова, рассматривающееся в первом разделе главы.

В историко-культурной перспективе фигура Словцова оказалась особым образом отмеченной. От него и его деятельности тянется далее во вторую половину XIX в. линия сибирской областнической тенденции. Так считают и современные исследователи творчества Словцова, и, что особенно важно, сами Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев, расценивавшие его в качестве одного из первых выразителей областного «патриотизма».

Мы полагаем, что творческое многообразие и даже эклектизм Словцова обусловливались сложной структурой его «протообластнического» мировоззрения. Словцов вплотную подошел к идее оригинальности исторической судьбы Сибири, что заставляло его писать, вообще говоря, обо всем, имевшем отношение к Зауралью, в том числе и об основе любой территориальной оригинальности – местной культуре и, прежде всего, словесности. Универсалистская установка закономерно повлияла на жанровое многообразие его творчества, ибо различные предметы его ученой рефлексии – от, к примеру, травника, проблем статистики и демографии до вопросов сибирского источниковедения и личности Ермака – требовали абсолютно разных творческих подходов. Вместе с тем решить проблему своеобразия Сибири Словцову, человеку, воспитанному еще XVIII столетием, не удалось. Не создав, подобно своим последователям «старшим» областникам, более или менее стройной концепции исторического и культурного развития Сибири, Словцов оставил после себя колоссальный резервуар разнообразных творческих и идейных решений, начавших процесс распада еще при его жизни.

Мы специально анализируем два произведения П.А. Словцова – «Письма из Сибири 1826 года» и «Прогулки вокруг Тобольска в 1830 году», в которых высказаны основные соображения о перспективах региональной словесности и которые сами стали одними из первых ее образцов. Кроме того, сложная эстетическая концепция Словцова, во многом зависящая от его историософских взглядов, заставила привлечь к анализу материал его фундаментального «Исторического обозрения Сибири» (1838-1844).

В синкретичном творческом сознании Словцова воззрения на прошлое края были нераздельно слиты с мыслями о перспективах его литературного развития. Последнее виделось ему как сложный и, по существу, еще не начинавшийся процесс. Тем не менее совершенным скептиком в этом отношении Словцов не был. В качестве примера он обращается к таким «повременным... просвечиваниям ума», «мелькающим явлениям словесности», как журналы П.П. Сумарокова и «Беседа об Енисейском крае» А.П. Степанова. Хорошо зная, что «...способность к словесности уже выражает себя в различных положениях», Словцов тем не менее отдает себе отчет в специфическом и очень невыгодном для культурного развития отдаленно-периферийном положении Сибири, в которой пишущему человеку сложно найти необходимую ему творческую среду. Размышления на эти темы не оставляли Словцова в течение многих лет. Начатые в 20-е годы в «Письмах из Сибири», они затем будут продолжены десятилетие спустя в «Прогулках вокруг Тобольска» и в «Историческом обозрении». Так, традиционный для автора синтез сомнений и

надежд насчет местной словесности дополняется в «Прогулках...» еще и рядом замечаний, относящихся к эстетической природе будущей литературы. В нескольких фрагментах своего сочинения Словцов пытается выяснить необходимое для нее соотношение «идеального» и «реального», «поэзии» и «науки».

Литературные «прогнозы» Словцова нередко отличались известным скептицизмом, в чем-то соответствовавшим его исторической концепции Сибири, которая «по несамобытности не может мечтать о своей Истории» и где после Ермака не происходило почти ничего, кроме череды «мер правительственных». Однако, трезво оценивая литературно-культурный потенциал Сибири, временами отказывая ему в будущем, Словцов неизбежно оказывался эклектиком, ибо его собственное творческое развитие, начавшееся на излете XVIII в. именно как *литературное*, закономерно предполагало эксперименты со стилем и художественной формой. Следы подобных экспериментов особенно ярко представлены в тех же «Письмах из Сибири» и «Прогулках вокруг Тобольска», литературный характер которых заявлен уже в названиях этих произведений, связанных с поэтикой сентиментального путешествия. Одновременно было бы неправильным видеть в произведениях Словцова только запоздалые образцы травелогов периода сентиментализма. Сама установка сибирского ученого не имеет никакого отношения к «чувствительным» интенциям писателей недавнего прошлого. Если последние в большинстве случаев посещали земли, рассматривавшиеся ими как малознакомые, а потому вызывавшие закономерный интерес, то Словцов путешествует по своей родине, и различные стороны ее жизни являются экзотикой для читателя, но никак не для автора. Автор у Словцова – не экскурсант в экзотическом мире, а, скорее, экскурсовод. Вероятно, эта особенность точки зрения повествователя определяет интонацию поучительности, столь свойственную многим фрагментам «Писем из Сибири» и «Прогулок вокруг Тобольска».

Несмотря на известную композиционную свободу жанра путешествия, «Письмам из Сибири» и «Прогулкам вокруг Тобольска» присуща композиционная упорядоченность. В особенности это относится к построению «Прогулок...», структура которых осмысленно создается автором на основе ряда литературных приемов. Так, начало и конец произведения (т.е. композиционную рамку) знаменуют вводимые в текст диалоги с Маской. За ней скрывается Гермес Трисмегист, образ которого отсылает читателя к «Грамматике и Реторике», изучавшимся Словцовым в Тобольске, о чем он вспоминает в самом начале «Прогулок». Специфика хронотопа текста также связана с визитом Маски. Узнав, что ученый тоболяк «предпочел избрать Ботанику себе в подругу», таинственный герой рекомендует ему составить тобольский травник, для чего потребуется календарный год, полностью посвященный природоведческим наблюдениям. «...Я все расположился, – пишет автор, – начать сею же зимою прогулки вокруг Тобольска...» Итак, незамысловатую задачу изучения природы родного города в течение года Словцов обосновывает с помощью целого набора литературных средств: диалога, мотива встречи с загадочным незнакомцем, открытия его подлинного имени, ожидания новой встречи.

Вместе с тем поэтика текста требует, помимо отчасти решаемых автором вопросов стиля и композиции, еще и концепции героя. Тип героя-сибиряка мог бы заполнить в произведении о русском Востоке структурную позицию «внутренне-

го» наблюдателя и стать мощным противовесом поэтической традиции внешнего наблюдения, основанного на мифопоэтике и приемах остранения. Тем не менее «областной» тип в «Прогулках» отсутствует, подлинными героями произведения в соответствии с нормами жанра путешествия оказываются автор, а также сам город и ландшафт, окружающий Тобольск. Субъективное начало, связанное в тексте с фигурой автора, а также природоведческие наблюдения вытесняют возможные перспективы появления новых персонажей. В одном из эпизодов «Прогулок» Словцов сравнивает жизнь растений с жизнью людей. «Семьи растений во многом походят на семьи человеческие... так же дышат, питаются и растут, только умирают иначе. Умирают, оставляя залогом многочисленных поколений, а мы рано или поздно вымираем целыми родами, целыми царствами. Где род Кучума и Дешнева, – последнего повелителя здешних правоверных и первого мореходца, обогнувшего угол Чукотской? Но теперь не до людей, Бог с ними!» И далее автор вновь обращается к ботанической проблематике. Показательно, что в числе примеров бренности человеческой жизни ученым названы яркие деятели сибирской истории – хан Искера и знаменитый землепроходец, не менее показательна индифферентность к ним автора: в поэтической системе «Прогулок» растения действительно важнее людей, обстановка важнее героя. По этой причине литературное вдохновение Словцова обращено прежде всего к ландшафту, именно в нем на первых порах существования литературы Сибири видится средоточие местной оригинальности.

Г.Н. Потанин, тонко почувствовав специфику культурной ситуации, в которой находился Словцов, отметил в «Крымских письмах сибиряка» (1876): «Этот первый любитель Сибири жил в такое время, когда объект для подобной любви еще не выяснился; его патриотическая мысль не могла нащупать ядро сибирского общества, ему хотелось поклониться чему-нибудь грандиозному в Сибири, и он ничего не нашел, кроме природы». Действительно, учитывая некоторые самобытные черты жителя Зауралья, Словцов не в состоянии был осмыслить целостный образ человека, живущего на самой дальней границе русского культурного ареала, и был склонен рассматривать сибиряка либо как этнографическую экзотику, носителя поведенческих и лингвистических курьезов, либо в обычном для себя эклектическом духе вовсе отрицать всякое его своеобразие: «переселенец назывался Сибиряком; Сибиряк не переставал быть Русским...» Оба подхода, у Словцова причудливо объединившиеся, не позволяли создать необходимую любой литературной традиции характерологию, тип героя. И если элиминация особых черт сибиряка и отождествление его с русским даже не позволяла поставить этот вопрос, то «панэтнографизм», свойственный многим описателям Сибири, от Словцова до А.П. Щапова, низводил жителей края до уровня антропологических экспонатов, предметов отстраненного научного интереса. Ученый, отражающий на страницах своего труда только эти черты местных обитателей, невольно превращался в посетителя кунсткамеры, со стороны наблюдающего «капризы природы». Между автором и объектом его художественной рефлексии появлялась в таком случае непреодолимая преграда, какая существовала в свое время между средневековым писателем и открывшимся ему чудесным миром северных аборигенов, которые «по пуп мохнаты до долу, а от пупа вверх как и прочие человеци» (Сказание «О человецех незнаемых в Восточной стране», XV в.). Эта граница могла быть преодолена только когда «ядро сибирского общества», по словам Потанина, могло быть «на-

щупано», когда сибиряк, не теряя своих этнографических особенностей, мог превратиться в литературном тексте прежде всего в *человека*, у которого есть не только те или иные следы метисации, но психология, повседневные нужды и интересы. В этом случае фундаментальные изменения начала претерпевать бы и сама литературная традиция, которая открыла бы не только новый тип героя, но наполнила бы новым смыслом концепцию автора. У сибирской словесности все это было еще впереди.

Творчество П.А. Словцова оказалось исключительно характерным для периода становления региональной литературы. Эклектически соединившиеся в нем художественная и научная установки определили как поэтическую индивидуальность произведений самого Словцова, так и перспективы дальнейшего литературного развития в Сибири. Одновременно с тобольским ученым традицию научного описания Зауралья развивал в 20-е годы Г.И. Спасский, литературно-беллетристическое начало получило яркое воплощение в романистике И.Т. Калашникова. В творчестве каждого из них мы можем наблюдать развитие каждого из начал, которые Словцов умел соединять.

Второй раздел главы посвящен крупнейшим достижениям сибиреведения начала XIX в. – журналам Г.И. Спасского «Сибирский вестник» и «Азиатский вестник» (1818-1827). Издательская и литературно-публицистическая деятельность Г.И. Спасского развивалась синхронно с творчеством П.А. Словцова и представляла собой доведение до своего логического предела научно-описательной тенденции, присутствовавшей в текстах Словцова лишь на правах одной из составляющих.

Роль Г.И. Спасского в науке XIX в. изучалась современными специалистами неоднократно и оценивалась, как правило, чрезвычайно высоко. Имя ученого и собирателя сибирских древностей звучит, в основном, в работах историков и специалистов по сибирскому летописанию. Среди них Спасский известен как «неутомимый собиратель сибирских источников» (А.И. Андреев) и публикатор летописей – Строгановской и Есиповской, которые он ввел в научный оборот. Для своего времени это были фундаментальные достижения эдиционной практики, а их роль в изучении сибирской истории и популяризации Сибири просто очевидна. Именно благодаря усилиям Спасского обнаруженная им «Летопись Сибирская» оказалась в 1820 г. в распоряжении Н.М. Карамзина, работавшего в это время над IX томом «Истории государства Российского», и была названа последним Строгановской.

Но уместен ли литературоведческий интерес к подчеркнuto академичным, порой даже, как кажется, излишне педантичным журналам Спасского, в особенности к «Сибирскому вестнику»? Что общего между ними и изящной словесностью пушкинской эпохи, периодом романтизма? «Сибирский вестник» здесь особенно показателен своей подчеркнутой нелитературностью, очень заметной как раз на фоне «Азиатского вестника», в первой же книжке которого за 1825 г. появляется отдел «Восточная словесность». В предыдущем издании ничего подобного нет. И хотя совершенно далеким от литературы человеком Спасский не был, тем не менее помещаемые им в «Сибирском вестнике» исторические материалы расценивались только как ценные свидетельства о прошлом, а остальное в составе журнала относилось, используя современные представления о границах наук, к географии, этнографии, археологии, геологии и т.д.

Литературоведческое исследование журналов Г.И. Спасского должно основываться на представлении о сибирской теме в XIX в. как об универсальном типологическом явлении, охватывающем различные стороны культуры и сохраняющем свои базовые свойства во всех этих сферах, включая, разумеется, и словесность. Как мы уже отмечали, важнейшей особенностью функционирования сибирской темы в литературе начала XIX в. было создание образа Сибири – имперской колонии, ориентального пространства, расценивавшегося как русский вариант заморских владений, принадлежащих метрополиям Запада. Если корни подобного отношения к Сибири располагались в области политики и идеологии XVIII – начала XIX вв., то его результаты оказывались напрямую связанными с литературой, ибо заданная тенденциозность восприятия русского Востока не только стимулировала объективное изучение последнего, но и усугубляла его мифологизацию, создававшую, в свою очередь, благоприятную почву для развития литературной сюжетики.

Экспансия мотивов литературного происхождения охватила поэзию романтизма, складывающуюся областную сибирскую прозу, научную публицистику. Не могли остаться в стороне от этого процесса и издания Спасского. Специфика их взаимодействия с формирующимися основами поэтики сибирской литературы определялась сочетанием в «Сибирском» и «Азиатском» «вестниках» традиционных для культуры воззрений на «далекие земли» с прагматическим научным стилем, последовательным апологетом которого Спасский выступал. Данное обстоятельство предопределило его конфликт с соиздателем «Сибирского вестника» В.В. Дмитриевым, находившимся еще под влиянием сентиментальной поэтики и предполагавшим в своих проектах «Вестника» его более тесную связь с литературой. Прекращение сотрудничества с В.В. Дмитриевым заставило Спасского формировать стратегию своего издания самостоятельно.

Эволюция замысла от журнала, посвященного Сибири, к изданию, помещавшему материалы об Азии вообще, характеризует не только трансформацию планов самого Спасского, но в первую очередь свойственную времени стратегию осмысления Сибири как ориентальной территории, средоточия этнографической экзотики. Действительно, на страницах «Сибирского вестника» нашли место лишь считанные публикации о русских в Сибири (и это несмотря на то, что в их абсолютном численном перевесе над аборигенами издатель прекрасно отдавал себе отчет). Десятки остальных статей, выходивших в отделе «Изображение обитателей Сибири», посвящались последовательно едва ли не всем известным на то время авторитетам северной Азии. Сибирь была прежде всего землей остяков и телеутов, калмыков и татар, якутов и чукчей; место старообрядцу, рабочему алтайских горнорудных заводов, обывателю сибирского города находилось в журнале далеко не всегда.

Частое обращение Спасского к коренным народам не было простым интересом к «дикивинным» племенам: автору удастся создать своего рода концепцию сибирской старины, представить исконные качества человека, живущего в природно-культурных условиях Зауралья. В мировом историческом процессе Сибирь, согласно воззрениям Спасского, оказывается «убежищем»; здесь, скрываясь от «варваров», тот или иной народ мог найти приют, стабильность и приемлемые условия жизни. Над пространствами Северной Азии коллизии мировой истории не властны, здесь надолго консервируется первобытное состояние человека. Редко

упоминаемые на страницах «Сибирского вестника» русские старожилы архаическими чертами своего характера близки аборигенам. Будучи русскими, но при этом во многом отличаясь от своих соотечественников к западу от Урала, а еще более от человека европейской цивилизации, они являют собой образцы природной естественности, утерянной во всем остальном мире. В конечном счете, суждения Спасского о качествах сибиряка (аборигена и русского старожила) с литературоведческой точки зрения напоминают выработку *типа*, во многом связанного с поэтикой романтизма. И если научная составляющая приводимых Спасским сведений в памяти не очень подготовленного читателя могла и раствориться, то концентрированный остаток мог воскресить в его сознании и утопии Просвещения, и традиционную экзотику далеких земель, и характерологические поиски писателей-романтиков. Именно в этом отношении пафос работ Спасского оказывался чрезвычайно созвучным литературному развитию начала XIX в.

Хронотоп Сибири, первобытной, отдаленной территории, населенной людьми, чей образ жизни зависит только от природы, может, в принципе, создавать представление о Зауралье как об утопическом пространстве. Парадоксально, что такое содержание реконструируется из, вообще говоря, совершенно научных работ Спасского, основные цели которых далеки от мифотворчества. Научность и академизм, декларированные Спасским как методологическая основа его журнальных проектов, «топорный» слог, вызывавший неприятие П.А. Словцова и приведший к конфликту с В.В. Дмитриевым, не смогли воспрепятствовать проникновению в тексты «Сибирского вестника» аспектов поэтики литературного и – шире – общекультурного происхождения. В этом смысле журнал не просто закладывал основы сибирской темы в словесности XIX в., он сам был элементом этой темы, элементом, подчинявшимся давним традициям литературы об экзотических землях, воплощавших в себе идею *инога*.

Почти десятилетней публикацией своих беспрецедентных в отечественной литературе нового времени периодических изданий, посвященных Сибири, Спасский зарекомендовал себя как подлинный энтузиаст сибирской темы. По рождению не имея с Сибирью ничего общего, уехав за Урал двадцатилетним юношей без всякого систематического образования, он вернулся в столицу подготовленным специалистом, располагавшим колоссальным набором сведений, привлечших внимание Карамзина и Пушкина. Быть может, успехом у широкой публики издательские предприятия Спасского и не пользовались, однако интерес к ним со стороны просвещенного читателя и ведущих представителей литературы эпохи очевиден и не требует дополнительных аргументов. Это обстоятельство, во-первых, сделало возможным уверенное вхождение сибирской темы в словесность XIX в., а во-вторых, стимулировало литературную активность в самой Сибири, которой через некоторое время предстояло пережить взлет литературы областного направления.

В третьем разделе второй главы анализируются романы самого яркого сибирского беллетриста первой половины XIX в., ученика П.А. Словцова И.Т. Калашникова.

Переплетение в разнообразных текстах о Сибири (как регионального, так и столичного происхождения) двух основных стилистических тенденций – научно-описательной и литературно-художественной – характеризовалось в поэтике каж-

дого автора преобладанием лишь одной из них, их баланс имел место, пожалуй, только в произведениях П.А. Словцова и объяснялся, как мы пытались показать, мировоззренческим универсализмом сибирского просветителя. Уже у его современника Г.И. Спасского доминирующим становится наукообразное начало, не исключаяющее, впрочем, «следов» литературного и мифопоэтического происхождения в способах отбора и подачи сибиреведческих материалов на страницах его изданий.

Относительно Словцова и Спасского творчество И.Т. Калашникова является очередной попыткой соединения беллетристики с внелитературным стремлением познакомить читателя с отдаленным восточным краем. Существенное отличие романов Калашникова от произведений его ментора Словцова, а также от текстов издателя «Сибирского вестника» заключалось в очевидном перевесе сюжетно-беллетристической составляющей. «Я первый написал сибирский роман...» – подчеркивает Калашников в предисловии к повести «Изгнанники» (1834), и эту убежденность автора в его роли *литературного* первооткрывателя Сибири следует признать справедливой. Во всем массиве сибирской беллетристики, заявившей о себе в первой половине XIX в. (Н.А. Полевой, Н.С. Щукин, Н. Бобылев), фигура И.Т. Калашникова является наиболее заметной.

Критика, как правило, резко отзывавшаяся о Калашникове, прекрасно чувствовала не совсем органичное соединение познавательных и литературных намерений автора. Причем в известных отзывах В.Г. Белинского именно художественная сторона творчества романиста вызывает едкие эскапады, а этнографизм оценивается более взвешенно и в целом позитивно. Однако, с точки зрения самого Калашникова, литературное и объективно-описательное начала его прозы были неразделимы. Своими беллетризованными этнографическими экскурсами писатель стремится создать альтернативу сухому и беспристрастному освещению сибирских реалий в литературе, подобной журналам Спасского. В письме к П.А. Словцову романист признается: «Я исполняю мою обязанность к родине и делаю ее известною для многих, которые никогда не возьмут в руки книгу, пахнущую ученостью»³.

В настоящем разделе реферируемой работы исследуются жанровые тенденции и принципы сюжетосложения текстов Калашникова, специфика психологизма, особенности авторской точки зрения относительно Сибири.

Принципиальным мировоззренческим аспектом прозы Калашникова, оказывающим сильнейшее воздействие на ее поэтическую организацию, является характерная для культуры романтизма оценка Сибири как экзотического мира, сконцентрировавшего в себе реалии жизни, радикально отличной от среды существования столичного обывателя – основного читателя романов Калашникова. Художественное воплощение этой ключевой для автора идеи осуществляется разными способами на разных уровнях поэтики его текстов.

Давно отмечено, что структура конфликта романов Калашникова базируется на бескомпромиссном столкновении облеченного властью носителя всех зол и идеальной пары героев-любовников. В советское время эта коллизия истолковывалась главным образом в социологическом ключе: носитель зла оказывался представителем власти как таковой. Вместе с тем описанная Калашниковым ситуация

³ РО ИРЛИ РАН. Ф. 120. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 22. Письмо относится к началу 1833 г.

своеобразного «пленения» Сибири столичным начальством предвосхищает структуру областнического мировоззрения второй половины XIX в. (наблюдение американской исследовательницы Г. Димент.) Власть губернаторов и генерал-губернаторов в сибирских городах плоха не потому, что она плоха во всей империи (кстати сказать, основной ее порок – крепостное право – за Уралом отсутствовал), она неудовлетворительна именно по причине своего нахождения, как выразился Калашников в одном из писем к П.А. Словцову, «вдали от Престола», искажаясь по мере географического отдаления от столицы и достигая предела своей «ненормальности» именно в Сибири, крайней точке этого отдаления. Причем оторванность от центра из категории социологической (большое расстояние провоцирует бесконтрольность) трансформируется в литературном тексте в категорию поэтическую. Нахождение героев произведений писателя «на краю земли» предполагает осмысление всего происходящего с ними именно как чудесного и невероятного. Необходимым элементом в этом контексте оказывается и запредельное злодейство власть предержащих, и почти чудесным образом обрушивающееся на них, казалось бы, в самый последний момент наказание со стороны верховной власти. Так, прекрасно знакомая Калашникову и сильно повлиявшая на сюжетику его романов история с губернаторами И.Б. Пестелем и Н.И. Трескиным, ставшими в 1819 г. жертвами ревизии М.М. Сперанского, из события социально-политического преобразуется в ситуацию по преимуществу литературную, требующую обращения к беллетристическим приемам: стечению случайностей и внезапностей в сюжете, неправдоподобности происшествий, огромности задействованных в повествовании географических пространств и т.д.

Воссозданная в «Дочери купца Жолобова» (1831) обстановка экзотической окраины, на территории которой случаются невероятные чудеса и злодейства, в «Камчадалке» (1834) только усугублена. Действие происходит не просто, говоря словами Белинского, в «интереснейшей части Сибири – Иркутской губернии», как раньше, но на самом краю Сибири – на Камчатке. В этом смысле если Иркутск относительно столицы – периферия, то Камчатка – периферия вдвойне. «Все ужасы негостеприимной страны сей были собраны для устрашения наших путешественников», – эти слова, произнесенные автором о своих героях на первых страницах романа, вполне могли быть адресованы им «путешественнику» литературному, читателю, любопытство которого в течение целого десятилетия обеспечивало стабильный успех романам Калашникова. Вообще обращает на себя внимание динамика хронотопа в текстах писателя от «Дочери купца Жолобова» к «Изгнанникам», когда действие каждого следующего своего произведения автор располагает во все более отдаленной и экзотической местности, удаляясь от сравнительно известного Иркутска и вовсе не затрагивая реалий Западной Сибири. Так, из окрестностей Петропавловска в «Камчадалке» читатель в повести «Изгнанники» переносится на совсем уж запредельный берег Ледовитого океана «к востоку от устья Колымы». При этом множество почерпнутых из реальной жизни краеведческих наблюдений первого романа сменяет в «Камчадалке» опора почти исключительно на литературные источники («Описание земли Камчатки» Степана Крашенинникова, 1755 г.). Этот пример своего рода метакраеведения лишь подчеркивает литературность установки писателя и концептуальность его намерений, в общем, далекую от простого освещения быта сибиряков.

Нарастающая экзотизация обстановки действия неизбежно заставляла Калашникова позиционировать себя как *столичного* литератора, по мнению которого Восток России – не знакомая с детства родина, а неизведанная, таинственная земля. Это обстоятельство в сочетании с декларированным еще П.А. Словцовым краеведческим интересом к «микроскопическим подробностям» ощутимо воздействует на точку зрения повествователя в текстах Калашникова. Ее двойственность предопределила постоянную игру сопоставлениями: антитеза «здесь» и «там» часто встречается на страницах прозы Калашникова. «Здесь» – это, как правило, столица, откуда автор простирает свой взгляд на ландшафт, климат и этнографию Зауралья. Иной тип точки зрения реализуется в примечаниях и комментариях, в которых Калашников предстает компетентным знатоком своего края, на некоторое время словно «забывая» о своем намерении поразить читателя. Этим фрагментам его сочинений присущи информативность и даже наукообразность, наблюдение ведется как бы «изнутри» описываемой территории.

Давление сюжетно-беллетристического задания сказывается также на приеме психологической характеристики героя в романах Калашникова. Собственно, никакой характеристики, как правило, и нет; автор, стремясь погрузить своих героев в гущу невероятных происшествий, мало заботится об их переживаниях, ограничиваясь штампами сентиментальной и романтической литературы. При этом, однако, он неоднократно дает понять читателю, что сам по себе психологизм важен. В таком случае отсутствие последнего становится знаковым отсутствием, своего рода минус-приемом. Намеренный отказ от психологизма не может быть объяснен, как это не раз бывало прежде, несовершенством творческой манеры писателя. Последнее обстоятельство вовсе не препятствовало бы Калашникову прибегать к несовершенным же способам анализа внутреннего мира героев. Главную роль играет здесь, как представляется, установка на *событие*, обладающее в авторском художественном сознании большей ценностью, чем психологизм. Ценность события возрастает вследствие осмысления Сибири как чудесного пространства, где возможно все или почти все, одновременно самоустранение автора от анализа личности его персонажей может быть понято как тяготение к *исторической объективности*.

Исторический процесс в художественном сознании Калашникова фрагментарен и телеологичен. Широкая панорама событий в общенациональном масштабе показана сибирским писателем только в романе «Автомат», наименее удачном его тексте, в то время как основные произведения автора имеют отношение почти исключительно к Сибири. Им описывается жизнь окраины, *фрагмента* империи, происходящие на ее территории события обусловлены *внутренними* причинами, не имеющими отношения к жизни «центральной» России. Телеология исторического процесса в двух главных текстах сибирского автора «Дочери купца Жолобова» и «Камчадалке» основывается на подготовке в течение всего романного повествования и, наконец, осуществлении акта высшей справедливости – безоговорочного разоблачения зла и реабилитации добродетельных персонажей. За цепью связанных друг с другом героев, олицетворяющих запоздалый, но справедливый суд, со всей очевидностью просматривается авторитарная фигура самого писателя. Посрамление связанных с идеей порока власть предержащих обусловило также

включение в структуру романов писателя *loci communes* классицистической комедии.

Со временем присущий региональной словесности начала XIX в. несколько прямолинейный этнографизм и местный колорит будут оставлены в прошлом. Вместе с тем отказ от устаревших литературных образцов мог быть осуществлен только после их создания, а затем многолетней эксплуатации. В этом смысле роль сибирской темы журналов Г.И. Спасского, попыток П.А. Словцова концептуализировать областную литературу, поисков И.Т. Калашникова в области сюжетосложения и жанровой природы «краеведческого» романа трудно переоценить. Наконец, нельзя не отметить, что именно эти опыты способствовали развитию «сибиреведческой рефлексии» в общероссийском культурном пространстве, связанной с критико-журнальной деятельностью М.Т. Каченовского, Н.А. Полевого, В.Г. Белинского. Сибирская и общерусская литература намечали столь существенные для последующего развития диалог культур и дихотомию «сибирского текста».

В третьей главе диссертации «Литература Сибири второй половины XIX столетия. Формирование областнической концепции автора и героя» рассматриваются важные изменения в региональной литературной системе, ставшие результатом деятельности областников Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева в сфере литературной критики и прозаических жанров.

Период интенсивного развития региональной словесности в 10-30-е гг. не дал немедленных результатов. Реконструирующаяся при анализе деятельности, например, П.А. Словцова «областническая тенденция» не связала непосредственно литератора начала века с последователями в 60-е годы. Причиной стал очередной провал в сибирской литературной истории. По справедливому замечанию М.К. Азадовского, «в 40-50-х гг. сибирская литература уже стоит на заднем плане и представляет только ряд случайных и незначительных сочинений». Однако очередная пауза в развитии литературного самосознания края, измельчание и провинциализация его культурной жизни не пресекли развитие наметившихся ранее тенденций. Не имевшие личного контакта со своими объективными предшественниками, деятели областнического движения второй половины столетия проявили неподдельный интерес к созданным ими произведениям, вследствие чего творчество того же Словцова было помещено в новые, разработанные самими областниками, идеологический контекст и историко-литературный ряд. Именно таким образом создатель концепции сибирской истории как «добавки к русской»⁴ оказался предтечей фигурантов «дела об отделении Сибири от России и образовании республики подобно Соединенным Штатам». Связь между отстоящими друг от друга на три десятка лет этапами культурного развития была установлена.

Впрочем, на первых порах политизированные воззрения областников не позволяли им признать за литературой края вообще хоть какое-нибудь будущее. Однако со временем, уверившись в том, что «местная беллетристика необходима» (Г.Н. Потанин в письме к Н.М. Ядринцеву от 28 февраля 1872 г.), представители нового этапа в развитии региональной сибирской словесности должны были, как некогда их предшественники, специально остановиться на критериях складывающейся литературной традиции. Здесь они пошли значительно дальше Словцова,

⁴ Словцов П.А. Историческое обозрение Сибири: В 2 кн. СПб., 1886. Кн. 2. С. VI.

остававшегося в пределах эстетики как таковой и искавшего оптимальное соотношение между научным и художественным стилями. Ключевым критерием *областнической* литературы становится явление внелитературного происхождения – патриотизм. Так, обсуждая опубликованную в народническом журнале «Дело» работу Д.Л. Мордовцева «Печать в провинции» (1875), Г.Н. Потанин указал, что, по его мнению, в региональные литературные «фракции» «следовало записать только местных патриотов. В Сибири и Малороссии они давно есть».

Однако на этом проблема идентификации литературы края не была решена окончательно. Молодые сибирские интеллигенты прекрасно понимали, что «патриотизм» легко превратить из убедительного критерия традиции в набор трескучих фраз о «преданности отечеству». Поэтому абстрактную идеологему нужно было наполнить конкретным содержанием, превратить в показательный *сюжет*. Важнейшей составляющей патриотического мироощущения областников стало культивируемое ими обязательное возвращение молодого сибиряка на «родину», пребывание в ее границах и служение ее «интересам». Идея возвращения – основа формирующегося патриотизма – становится доминантой в своеобразном областническом кодексе поведения, который, подвергаясь литературным обработкам, связывает воедино формирующиеся структуру сюжета, концепцию автора и тип героя.

Первый раздел главы посвящен реконструкции автобиографического сюжета прозы и публицистики Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева, сюжета, способного влиять на создающиеся в их среде произведения и литературно-критические доктрины.

Ключевым деятелям областнического движения было свойственно ощущение, что сибирская словесность начинается непосредственно с них, что произведения, появившиеся на востоке от Урала едва ли не с конца XVI в., с их собственной деятельностью никак не связаны. Поэтому сюжеты формирующейся литературы должны были в значительной степени зависеть от биографий ее создателей. Но сначала нужно было выстроить биографию как таковую, лишить ее характера «анкеты», придать ей символический статус, идеологизировать ее, превратить этапы жизни в знаковые события. Только в таком случае сюжет литературный будет производным от сюжета биографического.

Становление культуры в Сибири XIX в., появление интеллигенции и развитие ее самосознания – все эти процессы проходили в контексте активного преобразования собственных судеб ключевыми представителями региональной общности. Основной чертой этого жизнотворчества была трансформация узуального сценария жизни, сознательный выбор таких решений, которые прежде могли быть истолкованы как отход от нормы, а в данный период оказывались у истоков формирования новой нормы. Напряженное взаимодействие старого и нового подхода к биографии сибирского интеллигента коснулось главного: вопроса о целесообразности самого пребывания мыслящего, образованного человека на территории, давно закрепившей за собою репутацию «страны изгнания». Традиция диктовала восприятие Сибири как пространства кары, само нахождение за Уралом уже могло расцениваться как наказание. Исключительно характерную рефлексию на эту тему представляет собой специально анализирующийся далее «сибирский» фрагмент эпистолярия М.М. Сперанского (1819-1821), чья миссия генерал-губернатора и ре-

визора верховной власти сочеталась с судьбой опального царедворца, переживающего очередное «удаление».

Первые примеры осознанного желания остаться в Сибири были продемонстрированы еще П.А. Словцовым и П.П. Ершовым, причем последним в наиболее близкой областникам разновидности – возвращения за Урал после получения образования и первых успехов в столице. Однако, несмотря на созданные прецеденты, к середине XIX в. биографической нормой для человека, ищущего перспективы образования и карьеры, все еще продолжала оставаться миграция в европейскую Россию. Частным проявлением этой закономерности стали систематические выезды молодых людей в университетские города, главным образом в Санкт-Петербург. «...Все бежит из Сибири», – с грустью замечает Н.М. Ядринцев. Явление это именовалось областниками абсентеизмом и расценивалось как крайне негативное. Как бороться с ним? Ответ очевиден: выстроить свои биографии на основе мотива возвращения. Участники сибирского студенческого землячества в Санкт-Петербурге в начале 60-х гг. «все собирались возвратиться на родину, чтобы служить ей», – пишет в своих «Воспоминаниях» Потанин. Ему вторит Н.М. Ядринцев. «В Петербурге мною с Потаниным основано было 1-е сибирское землячество. Мы решили ехать в Сибирь». Таким образом, первым мотивом, появляющимся в искусственно выстраиваемой биографии нового типа, оказывается мотив возвращения. Однако и в эпоху областников возвращающийся из столичного университета сибиряк все еще, как во времена Словцова и Ершова, представлял собой эксцесс, а не норму. В этом смысле Потанин и Ядринцев, вернувшись в начале 60-х гг. в Сибирь, сделали сознательный, хотя и несколько иррациональный выбор, создали своего рода жизненный сюжет. Последовавшие в 1865 г. суд и наказание Потанина, Ядринцева и их единомышленников в еще большей степени символизировали их биографию, дополнив уникальность мотива возвращения не менее уникальным прецедентом «обратной ссылки» в европейскую Россию.

Однако чувства человека, попавшего из столичной среды в провинциальную, пусть и в результате осознанного стремления, не могут не быть противоречивыми. Доминирующим мотивом в эпистолярном и автобиографическом наследии становится раздвоенность: скука и томление в «глуши», желание «вырваться» в столицу, где, однако, тоже поджидает тоска по причине оторванности от «местных нужд». Тяга в столицу становится лейтмотивом в письмах П.П. Ершова друзьям, схожие интонации присутствуют и в публицистике Н.М. Ядринцева. Итак, отношение Ядринцева к такому явлению, как абсентеизм характеризовалось известной сложностью. Причем сложность эта была продуктивной для художественного творчества областников: герой, находящийся словно между двумя полюсами, ищущий себя и не удовлетворяющийся результатами поиска, вполне мог претендовать на статус литературного героя. Так, чувство раздвоенности сообщено Ядринцевым герою совместного с Потаниным романа «Тайжане» (1872) Ванькину. (Неизвестный ранее науке проект романа был обнаружен, исследован и опубликован Н.В. Серебрянниковым в 1997 г.). «Он хочет вырваться из Сибири. Все ему противеет», – скажет о нем Ядринцев в одном из писем своему соавтору, точно передавая собственные ощущения, звучавшие в его публицистике не раз.

В структуре романа «Тайжане», создававшегося совместными усилиями Г.Н. Потанина и Н.М. Ядринцева как художественный манифест областничества, на-

шли свое отражение несколько мотивов автобиографического происхождения. Помимо мотива возвращения, это влияние на героя со стороны политического ссыльного. Кроме того, просвещающее воздействие самого героя на юную героиню, участие в бунте рабочих позволяют сравнить «Тайжан» с романами о «новых людях». Ближайшим и самым известным Потанину и Ядринцеву примером здесь был роман их товарища по петербургскому землячеству сибиряков И.В. Федорова-Омулевского «Шаг за шагом» (1870). Сюжетная близость двух произведений «из сибирской жизни» более чем заметна. В ключевых эпизодах «Шаг за шагом» и проекты «Тайжан» полностью совпадали: приезд героя в место развития действия (прииск, город Ушаковск), его духовное становление под влиянием политического ссыльного, увлечение женщиной «из местных», просветительское воздействие на окружающую среду, участие в бунтарской акции. И, тем не менее, роман «Шаг за шагом» областники все-таки не приняли. В потанинской статье «Роман и рассказ в Сибири» (1876) Омулевский, невзирая на личные дружеские отношения, был подвергнут суровой критике.

Оба произведения в сильной степени идеологизированы и поэтому имеют четко выраженную социальную адресацию. И в этом аспекте они существенно отличаются друг от друга. Если роман Омулевского прочно входил в круг чтения революционной молодежи второй половины XIX в., играя роль одного из литературных «учебников жизни», наставляющих юных радикалов на путь борьбы, и был в этом смысле сориентирован на определенный социальный слой вне всяких областных предпочтений, то адресация «Тайжан» была прямо противоположной. «Возьмем опять роман. Я его пишу в местном духе, для местного общества...» – сообщает Ядринцев Потанину. Данная установка реализуется в характеристиках героя и, в конечном счете, влияет на вектор развития сюжета. Очевидно, что Ванькин – «туземный герой», «наивный дикарь, не знающий практической жизни, дитя тайги», будет вести себя иначе, чем герой романа «Шаг за шагом», «непровинциальное происхождение» которого сразу бросается в глаза. Различие проявилось в главном: если Светлова Омулевский в течение всего повествования готовит к неминуемому отъезду, то Ванькин, наоборот, не испытывает антипатии к Сибири и символизирующей ее тайге. В этом отношении герой противопоставлен не только Светлову с его тягой «вовне», но и героине «Тайжан» Наталье. «Тайжанка рвется из тайги, как из тюрьмы, в вольную синь. <...> Между ними контраст». «Ванькин стремился от неопределенного к определенному, хочет войти в границы, приурочиться, локализоваться. Наталья недовольна, что она поставлена в границы, она космополитка». Подчеркнем, что специфика характеров упомянутых персонажей тесно связана с биографическими сценариями, развивавшимися интеллигентами-областниками. В этом смысле жизнь героя словно продолжает реальную судьбу писателя, становясь художественным символом последней.

Проанализировав структуру разрабатывавшегося Г.Н. Потаниным и Н.М. Ядринцевым этикетного автобиографического сюжета, выявив его связи с художественным творчеством областников, во втором разделе главы основное свое внимание мы сосредоточили на психологизме формирующейся областной словесности. Как мы выяснили в предыдущем разделе, доминантой самосознания областника является сопротивление биографической и психологической нацеленности «вовне». Идеалом для него является своего рода территориальная интроверсия, за-

ставляющая порой делать и произносить парадоксальные вещи. Без сомнения, планы обязательного возвращения «патриота» на «родину» отличала известная нарочитость. Тот факт, что программа эта Потаниным и Ядринцевым, совершавшими тысячекилометровые путешествия от Китая до Америки, не выполнялась и выполняться не могла, лишь подчеркивал ее культурный, «идеальный» характер. Мало того, интроверсия и тяга к самодостаточности могли распространяться на словесность, что выражалось как в отрицании литературных предшественников, так и в сомнениях насчет необходимости современных литературных влияний. «Чтобы заметить местные интересы, нужно быть оригинальным и до известной меры свободным от могущественного давления общего потока русских умственных сил...» – писал Потанин в статье «Роман и рассказ в Сибири» (1876). В результате мы видим, как в областнической публицистике и литературной критике совмещаются два плана: биографический и литературно-эстетический. Один оказывается невозможен без другого: нельзя создать по-настоящему значительного «местного» произведения, не учитывая «местные» же интересы. Их, в свою очередь, нельзя раскрыть, пребывая где-то «вовне», пренебрегая областными реалиями. Со временем у Потанина эти воззрения разовьются в целостную концепцию противоположных «темпераментов» «интернационалиста» и «областника».

Исключительно характерным для областнической литературы был, как известно, конфликт «сибиряков» и «приезжих», ассоциировавшихся чаще всего со штрафной колонизацией и бюрократической эксплуатацией Сибири. Однако данное противопоставление осмысливалось теоретиками областнического движения далеко не только как социально-историческая коллизия. В наиболее глубоких интерпретациях конфликта раскрывается его «вечная» природа, в противоборстве двух слоев населения Сибири обнаруживается столкновение разных типов человека, каждый из которых располагает своеобразной психологией: укорененного в местной среде «патриота» и подвижного «экстерриториала». Психологические основания их личности восходят, по мнению Г.Н. Потанина, ко временам детства. Именно к детским переживаниям восходит стремление главного героя «Тайжан» к тому, чтобы «войти в границы, приурочиться, локализоваться». Именно ретроспекция младенческих лет Ванькина является, возможно, основной его характеристикой в дошедшем до нас тексте. «Когда Ванькин был маленьким <...>, его садили на постель и обставляли подушками, чтоб он не скатился. Родные стояли внизу, около огня, то есть в долине. Ванькин, как маленький феодальный рыцарь, выглядывал из своего пухового замка, построенного на горе; если детское подозрение открывало какую-нибудь мнимую опасность, Ванькин прятался за зубцы своего Dagumburga'a. И теперь в горах Ванькин чувствовал себя как-то понутру; он любил быть огороженным; ему нужно, чтоб глаз его упирался в преграду, а не скользил в даль. И чувству как-то лучше быть ограниченным – оно любит свою долину, а не раскалывается в космополитизме». Тем не менее, объяснив истоки «патриотического» характера своего «туземного героя», автор очень бегло останавливается на психологии его визави Натальи. Тип экстерриториала будет ждать своего концептуального осмысления еще несколько десятилетий.

Весной 1919 г., накануне обрушившихся на него болезней, Потанин пишет брошюру «Возрождение России и министерство народного просвещения» и печатает ее в издательстве Красноярского Союза областников-автономистов, с руково-

дителем которого, редактором журнала «Сибирские записки» Вл. М. Крутовским, у него давно налажены тесные связи. Поднимающиеся в работе вопросы связаны в основном со «злобой дня» 1918-1919 гг., однако предлагаемые способы их решения заставляют автора обратиться к «вечным» проблемам сибирской жизни второй половины XIX – начала XX вв.: реакции местного общества на политические инновации, приходящие из центра, роли региональной образовательной системы в создании и воспитании интеллектуального ресурса области и т.д. Именно на страницах этой малоизвестной брошюры Потанина, в первом ее разделе «Интернационалисты и областники», автором дается развернутая характеристика «экстерриториального» темперамента, его роли в исторической судьбе Сибири и всей России. Коллизия 1917 г. и ближайших последующих лет представляла в сознании престарелого Потанина столкновением «интернационалистов» с «областниками», являющимися не столько конфликтными политическими силами, сколько противоположными «темпераментами», каждый из которых сформировался под воздействием той или иной биографической традиции.

Стремясь к разработке концепции «областного» человека, носителя «естественной» привязанности к малой родине, формировавшейся еще в инфантильный период жизни, теоретики движения не могли раз за разом не отходить от обычных интерпретаций своей деятельности как идеологической и политической по преимуществу. Поиски собственной мировоззренческой идентификации в сопредельных с политикой и идеологией областях любопытным образом воздействовали на вырабатываемый теоретиками областничества понятийный ряд, который с определенного времени начинает пополняться терминами, заимствованными из психологии. Влияние их семантики сказалось на принципиальной в областнической системе ценностей категории патриотизма. Некоторые работы Потанина, а также его обширное эпистолярное наследие позволяют выявить и описать попытки автора осмыслить психологическую составляющую областнического мировоззрения. Далее нами специально анализируется характерный для областнической публицистики концепт *инстинкт*.

Принадлежащие главным образом перу Г.Н. Потанина соображения об «инстинктивной» привязанности человека к территории, о принадлежности его на этом основании к тому или иному типу «темперамента» остались, в общем, лишь *попытками* выработать типологию и характерологию персонажа областной литературы, целостной художественной или литературно-критической программы представители областнической традиции не оставили. Однако, несмотря на недостаток литературоцентризма, отмеченные тенденции имели большое значение для формирующейся региональной словесности. В период активной деятельности «старших» областников литература Сибири сформировала критерии «местного писателя», развитие таланта которого было поставлено в зависимость от биографического сценария, включавшего в себя верность «переживаниям детства» (статья Потанина «Роман и рассказ в Сибири»). Идея свободы регионального автора от «давления общего потока русских умственных сил» при всей своей прямолинейности означала отказ этого автора от своего маргинально-провинциального статуса, а priori предполагавшего несамостоятельность творческих поисков, их вторичность относительно доминирующей культуры центра. Напомним, что в первые десятилетия XIX в. сибирская литература не могла выработать принципиального для

региональной поэтики разделения текста «своего» и текста «о себе», тяготея скорее к «гибридным» явлениям, объединявшим в себе обе перспективы наблюдения (И.Т. Калашников, Г.И. Спасский). Это разделение, очевидно, стало возможным только после возникшего в какой-то момент психологического самоотождествления русским человеком себя с огромной сибирской «украиной». Понимание психологической природы этого феномена четко отражено в проанализированных текстах областнической литературы.

Третий раздел главы посвящен важнейшему аспекту кристаллизации самосознания областного писателя и формирования поэтических параметров региональной литературы – становлению специфической точки зрения автора относительно реалий русского Востока.

По мере развития «областнической тенденции» проявились задачи сибирской интеллигенции и, как следствие, конкретизировался образ местного населения. Впрочем, единодушия здесь не было, особенно на первых порах. Анализирующаяся в реферируемом разделе заочная полемика Н.М. Ядринцева с работами умершего в 1876 г. знаменитого историка старообрядчества и сибирского этнографа А.П. Щапова позволяет выявить некоторые особенности сложного процесса становления авторской позиции в региональной культурной среде, а также конструирования основного объекта этнографического изучения и литературного воспроизведения – жителя Зауралья.

Федералистские идеи А.П. Щапова имели огромное значение для развития областничества. Между тем пафос и эмоциональный накал некоторых его сибиреведческих сочинений, несоответствие исходной авторской установки идеалу научной объективности, тяготение к сатире и публицистике позволяют рассматривать их в аспекте эстетики и поэтики. В центре нашего внимания находятся два принципиально важных исследования А.П. Щапова – статьи 1872 г. «Историко-географические и этнологические заметки о сибирском населении» и «О развитии высших человеческих чувств. Мысли сибиряка при взгляде на нравственные чувства и стремления сибирского общества». Именно эти труды, как правило, имел в виду Н.М. Ядринцев, обращаясь к наследию ученого.

Ключевой мотив этих статей – физическая и нравственная дефектность сибиряка, падение его человеческих качеств в жестоких природных условиях и нередко враждебном этническом окружении. Уродство изображаемых людей, нагнетаемое порой Щаповым до крайнего предела, способствовало воскрешению в его сибиреведческих работах начала 70-х гг. архаичных способов описания территории, превращавшейся под пером исследователя в ирреальный мир, населенный потенциальными музейными экспонатами. Описанный Щаповым «Замечательный карлик Фома» из окрестностей Иркутска, «имевший на каждой руке и ноге по два пальца», становясь объектом чрезмерно внимательного рассмотрения и, кроме того, тиражируясь на страницах объемистых работ этнографа в массе своих двойников, оказывался, по сути, главным «героем» экзотического сибирского мира, его олицетворением.

Однако тема патологических изменений в организме и психологии сибиряка могла быть раскрыта далеко не на любом материале. Масса окружавших Щапова русских жителей Иркутской губернии вряд ли предоставляла много возможностей для подобных наблюдений. В этом случае предубеждение историка питалось не-

исчислимыми примерами бытового уродства, гротеска повседневной жизни. Здесь автора занимают в первую очередь примеры хищной корысти, алчности и прагматизма сибиряка, точно соответствующей климату жестокости и суровости характера. Свои выводы ученый подкрепляет множеством фактов, которые, впрочем, характеризует одна особенность: предвзятость позиции наблюдателя. Выхваченные из жизненного контекста события (вроде отравления мужей женами или жадности хозяина к своим работникам) на самом деле могут встречаться где угодно, но при этом, оставаясь единичными эксцессами, никак не способны характеризовать общество в целом. Стилистика бытового очерка, к которой со всей очевидностью перешел Щапов в статье «О развитии высших человеческих чувств...», ясно обнаруживает заинтересованную позицию автора, который не затрудняет себя наукообразием и, подобно литератору-сатирику, рисует гневным пером картины полуживотного существования своих соотечественников. Обличение сочетается здесь с традиционным экзотизмом описания: в полулюдей, увечных физически и нравственно, превратились именно сибиряки, обитатели *крайних* рубежей государства. При этом позиция Щапова была, конечно, много сложнее, чем у его средневековых предшественников, впервые описывавших обитателей таинственных земель на северо-востоке. Но был и момент родства установок. Вне зависимости от эмоционального настроения повествователя (спокойного к проявлениям чудесного как рутине «далекой земли» или негодующего по поводу дисгармонии и «уродства» жизни на окраине) его позиция по отношению к воспроизводимому в тексте объекту в обоих случаях одинакова. Ее можно охарактеризовать как принципиально *внешнюю* (ср. идеи Б.А. Успенского о внешней точке зрения автора в композиционной структуре текста; ср. также анализировавшийся В.Б. Шкловским прием остранения, коррелирующий с внешней авторской позицией).

Образцы осмысления Щаповым этнографических и бытовых реалий сибирской жизни являются характерными примерами остранения Сибири, радикального извлечения авторской позиции, базирующейся на определенной системе ценностей, из пространства сибирского мира со всей совокупностью его свойств. Слово *взгляд*, присутствующее в названии одной из статей Щапова, лишний раз свидетельствует о специфике его писательского самосознания, подразумевающего четкое разделение наблюдателя и наблюдаемого. Важной чертой работ этнографа являлись его рассуждения о сибиряке как «народно-областном типе». Именно в этом отношении идеи Щапова сближались с воззрениями Ядринцева и Потанина, также предлагавших рассматривать население края как своеобразную целостность. Статьи ссыльного иркутского историка оказали определяющее влияние на поиски Ядринцевым такой авторской позиции, которая была бы максимально пригодна для осмысления ключевых, с точки зрения областничества, черт обитателей Сибири.

Далее нами анализируется ряд выступлений Н.М. Ядринцева, полемически направленных против нарисованной А.П. Щаповым исключительно колоритной, но во многом предвзятой картины Сибири.

Эстетическое, психологическое и идеологическое позиционирование автором себя как чуждого краю, – вот что виделось Ядринцеву в большинстве сочинений о Сибири, среди которых антропологические работы А.П. Щапова были, пожалуй, самым показательным, но далеко не единственным примером. Осознав это, публицист столкнулся с вопросом принципиальной важности: как изменить формиро-

вавшуюся веками перспективу наблюдения сибирских реалий, как трансформировать саму интонацию рассказа о них? Будучи одним из аспектов синтезируемого областниками культурного самосознания, эта задача находилась в одном ряду с построением автобиографии как сюжета и наполнением психологическим содержанием концепции героя-патриота.

Вместо образа человека, рассматриваемого лишь в перспективе этнических и культурных мутаций, Ядринцев предлагает открыть «интересы», «нужды» и «желания» местного общества, многообразные и индивидуальные по своей природе. «Я именно так смотрю на провинцию, – пишет он, – я бы желал создать для нее “новый завет”, я бы презрел рутину столичного журнализма, его разъединение с народом и его презрительно гордое отношение к жизни масс. Может быть, вследствие этого мои статьи будут носить след некоторой восторженности к тому, что привыкли только презирать и над чем смеяться». Здесь обращает на себя внимание знаковое слово «разъединение»: его, несомненно, нужно понимать в связи с проблемой точки зрения как важной составляющей концепции автора. Намерение Ядринцева «презреть разъединение» звучит как вызов глубоко укорененной традиции, в рамках которой это «разъединение» постулировалось веками.

Мы выделили вошедшие в разные статьи и рецензии программные высказывания Н.М. Ядринцева, посвященные таким особенностям авторской позиции регионального литератора, которые позволяют во многом по-новому рассматривать главный объект его наблюдения, самого жителя Сибири. В историко-эволюционном отношении присутствие подобных литературно-критических взглядов в контексте областной словесности свидетельствует о совершенно новом этапе ее развития, разительно отличающем ее от ситуации прежних лет. Напомним тонкое замечание Г.Н. Потанина о специфике характерологических поисков П.А. Словцова. «Этот первый любитель Сибири жил в такое время, когда объект для подобной любви еще не выяснился; его патриотическая мысль не могла нащупать ядро сибирского общества, ему хотелось поклониться чему-нибудь грандиозному в Сибири, и он ничего не нашел, кроме природы». «Ядро сибирского общества» – это, по мысли Потанина, конечно же, человек, являющийся центром социума, а также любой культурной традиции. Областническое мироощущение, длительное время доминировавшее в среде сибирской интеллигенции, повернуло местного писателя лицом к жителю Сибири именно как к человеку, обладающему своими осмысленными «нуждами» и безотчетными «инстинктами». Новая точка зрения на сибиряка, основанная на преодолении эстетического и идеологического «разъединения», позволила вывести его из пространства мифопоэтических оценок, эксплуатировавших прием остранения реальности, восприятия ее как *иной* изначально. Результатом этого стало формирование своеобразной «внутренней» авторской точки зрения на сибирскую жизнь. Ее предельным, материализующим выражением стало выстраивание этикетной интровертированной биографии сибирского писателя.

Осознанно выстроенная биография областника-патриота оказалась необычайно продуктивной в региональном литературном процессе конца XIX – начала XX вв. Коллизия героя, стремящегося «от неопределенного к определенному», желающего «приурочиться, локализоваться», и героя-«космополита», намеченная в «Тайжанах», впоследствии отразится в массе рассказов и повестей сибирских

беллетристов рубежа веков. Роман Потанина и Ядринцева не был опубликован в свое время, оставшись, по существу, обширным конспектом; в этом смысле прямого влияния на зарождающуюся литературу Сибири он оказывать не мог. Однако мотивы, нашедшие в нем свое воплощение, были распространены в то время повсеместно: в публицистике и литературной критике, в газетных фельетонах и записях мемуарного характера – во всем том литературном массиве, в котором активно выработывалось самосознание провинциального интеллигента. Реальным воплощением этой тенденции стал бурный расцвет в 1880-1900-х гг. сибирской журналистики («Сибирская газета», «Сибирская жизнь», «Восточное обозрение» и т.д.), на страницах которых прошли своеобразную апробацию идеи и образы областной культуры и выявилась полемика с ними.

Заключительная четвертая глава диссертации «Региональная проза 1900-1910-х годов. Повесть. Роман» посвящена анализу ключевых произведений областной литературы начала XX века, принадлежащих перу А.Е. Новоселова и Г.Д. Гребенщикова.

Начало нового столетия имело для сибирской литературной истории отнюдь не только календарное значение. Очередная хронологическая веха открыла новый период в развитии региональной словесности, период, ознаменовавшийся целым рядом беспрецедентных достижений. Самым существенным из них было становление *писательской среды*, представители которой находились в постоянном систематическом общении друг с другом. Ощущение пишущим человеком своего одиночества, восприятие окружающей действительности как культурного вакуума, столь свойственное, например, П.А. Словцову, П.П. Ершову или Н.М. Ядринцеву, осталось в прошлом. Литературный процесс на востоке России перестал напоминать эпизодически возникающие и географически разрозненные «точки роста», он обрел необходимые ему «чувство плеча» и «ощущение соседства» (Д.С. Лихачев). Экономический подъем Сибири на рубеже XIX-XX вв., обусловил быстрое развитие местной периодики, которая совершенно отсутствовала в начале минувшего столетия и только начала появляться в эпоху «старших» областников. Первые десятилетия XX в. в Сибири стали поистине временем газет и «толстых» журналов. С их возникновением региональный писатель получил долгожданную возможность систематически печататься. Молодой литератор, подобный, скажем, Г.Д. Гребенщикову, за короткое время мог поместить на страницах таких изданий десятки своих сочинений, причем «багаж» его напечатанных работ год за годом стремительно увеличивался. Однако это вовсе не означало, что, прибегнув к услугам местной печати, писатель-сибиряк оставит попытки проникновения в столичные журналы. Характерное для всех без исключения этапов регионального литературного процесса взаимодействие с культурой центра в начале XX в. вышло на новый уровень и предельно интенсифицировалось. Именно 1900-1910-е гг. стали временем настоящего прорыва сибирских авторов на страницы «Современника», «Ежемесячного журнала», «Летописи», «Современного мира», «Вестника Европы».

«Сибирская литературная мобилизация» (А.М. Горький) совпала по времени, а, скорее всего, находилась в непосредственной связи с проявившимся с особой силой на рубеже XIX-XX вв. тяготением национальной культуры к «провинциаль-

ной» теме. Швейцарский славист Жорж Нива в своей статье «Русский роман и его предреволюционные “сынки”» обратил внимание на «уход со сцены главного героя русского романа XIX века, т.е. дворянина-помещика...», на смену которому «приходит новый и многоликий герой: отщепенец». По мнению исследователя, вся русская культура этого времени словно «уходит вглубь, окрашивается этнографизмом»⁵. Тип героя-«отщепенца» был поневоле близок авторам-сибирякам, биографический опыт которых позволял им регулярно соприкасаться с социальными «низами» сибирского общества, не знавшего дворянской культуры, зато постоянно контактировавшего с многотысячным ссыльнокаторжным населением, обитателями «мертвых домов» востока России.

Сделавшись открытием для столичной публики, генерация молодых региональных писателей начала XX в. выглядела весьма самобытно и на фоне своих сибирских предшественников. Впервые за весь послесредневековый период творчество областных литераторов характеризовалось суверенностью жанров собственно художественной прозы, влияние публицистики и наукообразного этнографизма сохранялось, но стало заметно слабее. Доминировали привычные для русской классической традиции жанры рассказа и повести, кроме того, наметилось отчетливое движение к созданию романа, потребность в котором ощущалась как «изнутри», так и «извне». Любопытно, что готовность областной литературной традиции к появлению обобщающего эпического полотна уловил А.М. Горький, 27 июня 1912 г. писавший с Капри В.И. Анучину: «И до чего Вы, сибиряки, материалами заряжены густо, – особенно Вы с Потаниным. Ведь Вы можете азиатскую эпопею написать в широченнейших масштабах! Пишите ли Вы роман? Смотрите, скоро ругаться буду!» А уже 13 сентября того же года Анучин сообщил своему требовательному корреспонденту, что «Гребенщиков пишет роман и собирается издать сборник рассказов...»

Перенос акцента с излюбленных «старшими» областниками очерка, фельетона и идеологизированной публицистики на беллетристические жанры не означал, однако, разрыва с традицией. Множество творческих решений с давней историей не только были сохранены, но и получили дальнейшее развитие. Речь идет прежде всего о восходящем к временам П.А. Словцова и Г.И. Спасского увлечении природоописанием. Одновременно если экспансия пейзажа в текстах региональной словесности первой половины XIX в. была главным образом связана с адаптацией к областным литературным условиям жанра сентиментального путешествия и не была напрямую связана с разработкой типологии и характерологии героя, то столетие спустя воспроизведение ландшафта соседствовало с глубоким интересом к сибиряку, коренному жителю края. Ресурсом для выработки типов и характеров представителей сибирского общества становились традиционные коллективы старообрядцев, аборигенов севера и юга русской Азии. При этом приоритетное внимание уделялось укладу сибирских староверов.

В первом разделе главы исследуются истоки и функционирование старообрядческой темы в публицистике и этнографических изысканиях сибирских авторов – от Н.М. Ядринцева до Г.Д. Гребенщикова и А.Е. Новоселова.

Вряд ли можно считать случайным тот факт, что два ключевых произведения региональной беллетристики начала XX столетия – повесть А.Е. Новоселова «Бе-

⁵ Нива Ж. Русский роман и его предреволюционные «сынки» // Континент. 1982. № 33. С. 343, 348.

ловодье» (1917) и роман Г.Д. Гребенщикова «Чураевы» (1921) – тематически связаны с сибирским старообрядчеством. Выбор данной тематики был очень характерным для областного писателя.

Русский старовер, целенаправленно в течение столетий удалявшийся от культурного и административного влияния центра, невольно оказался чрезвычайно привлекательной фигурой для интеллигента-публициста, исповедующего областнические взгляды. Сибирский старообрядец, находясь в жесткой оппозиции официальным русским властям, сохранил тем не менее коренные обычаи, культурные основы национального самосознания далеко за пределами своей исторической родины. В конфликте с официозом он сумел отстоять свое самоопределение. Если не учитывать конфессиональный момент, сибирский интеллигент-областник находился в очень похожих условиях. Оппонируя правительству и русскому обществу, он оставался в то же время носителем всех основных традиций русской культуры. Сибирский интеллигент второй половины XIX в., носитель сложного самосознания, в котором культурная и этническая принадлежность к России сочеталась с «местным патриотизмом» и «сепаратизмом», закономерно стремился найти своего «единомышленника» в толще народной жизни, в перипетиях национального исторического процесса. В этом отношении сибирские старообрядцы казались ему в некотором смысле собственным отражением, а специфический уклад их жизни – «народным» аналогом самого областничества.

Динамика публицистических оценок старообрядчества заключалась в следующем. Вызывавшая симпатии Н.М. Ядринцева независимость староверов, воспринимавшаяся публицистами XIX в. как свидетельство самодостаточности сибиряка, являющего собой особый «народно-областной тип», начинает в 1900-1910-е гг. соотноситься с идеей изоляционизма, и это притом, что само областническое движение переживает в этот период заметный подъем. Разгоревшаяся в первые десятилетия XX в. острая полемика между сторонниками и противниками «местного патриотизма» вновь поставила традиционные для сибирской общественности вопросы: что важнее – мифические сепаратизм и изоляция Сибири или включение огромной азиатской области в бурные политико-экономические процессы центральной России. Для литературного осмысления этой проблемы как нельзя более подходил сюжет об общине староверов, распадающейся из-за внешнего воздействия, что мы видим в романе Г.Д. Гребенщикова «Чураевы», а также сюжет о поиске идеальной утопической земли, сформировавший структуру повести «Беловодье» А.Е. Новоселова. Поиск выхода из состояния «чураевской» самоизоляции становится приоритетной задачей авторов начала XX в., пишущих произведения, в которых старообрядческая тематика занимает одно из важнейших мест.

Во втором разделе главы дается целостный анализ повести А.Е. Новоселова «Беловодье» как репрезентативного произведения сибирской словесности, структурная организация которого связана с художественной и публицистической традицией «старших» областников.

С историко-культурной точки зрения сюжет повести двояк: он комбинирует типичную для старообрядческой традиции беловодскую легенду с не менее популярными в этой среде китежскими мотивами, что актуализирует идею *взыскания*, определяющую поведение героев и поэтику повествования в целом. Система характеристик персонажей, специфика их взаимодействия позволяет реконструиро-

вать конфликт произведения – на первый взгляд, неявный, поскольку в социокультурном отношении герои Новоселова представляют собой *один* тип сибирского старожила и руководствуются *одним*, объединяющим *всех* стремлением к утопической земле. Давно разрабатывавшаяся областной культурой антитеза свободного, авантюрного странствования и привязанности к ограниченной территории чрезвычайно значима в структуре произведения и обуславливает распределение персонажей в рамках конфликта. С концепцией территориального консерватизма соотнесен Панфил, главный герой повести, почти фатальное стремление которого к Беловодью сочетается с привязанностью к собственному жилищу и подспудно тающимся нежеланием искушать судьбу рискованными путешествиями. Его идеологический визави Хрисанф является носителем противоположной установки – желания свободно перемещаться в пространстве. Закономерным следствием является то, что в мировоззренческом отношении он является вольнодумцем посреди ортодоксов-староверов. Оппозиция двух основных героев, подобно магниту, распределяет между своими полюсами остальных персонажей, включая участников любовной интриги. Функциональным «двойникам» Панфилу и Ивану, связанным с темой «локализации», противостоят Хрисанф, Сенечка Бергал и Гараська, образы которых спроецированы на идеи свободы, вольнодумства и имморализма. Причем если приводит общину к гибели ортодокс Панфил, несвобода поведения которого подчеркивается в тексте неоднократно (мотив клятвы отцу), то спасает ее, в конечном итоге, нонконформист Хрисанф, демонстрируя обычный житейский прагматизм. Данное обстоятельство позволяет заключить, что при всех генетических связях повести Новоселова с областным контекстом, ее поэтика трансформирует его самым решительным образом. Тяга к утопическому пространственному локусу не расценивается отныне как единственно возможный сценарий для героев, в то же время спасительным может стать как раз отсутствие «географического догматизма», рациональное и в чем-то даже авантюрное отношение к путешествию в открытый, неизвестный мир.

Третий раздел главы посвящен формированию художественного опыта Г.Д. Гребенщикова-прозаика, ищущего подходы к созданию первого в региональной литературной истории образца романного жанра.

Хронология создания первого тома «Чураевых» говорит о том, что рассказы Г.Д. Гребенщикова 1910-х годов являлись не просто экспериментами, *предшествовавшими* созданию обобщающего эпического целого. Судя по всему, замысел большого произведения, прообраза «Чураевых», формировался у молодого писателя в течение 1912 г., по возвращении из длительной экспедиции на Алтай. Вероятно, к концу года им были уже написаны какие-то предварительные материалы. Однако окончательно план романа прояснился только к 1915 г. В архиве писателя сохранилась недатированная рукопись, в которой этапы работы над произведением описаны исключительно точно. «I часть я написал в 1915 году под Тернополем, II часть в 1916 году под Двинском и III часть на Карпатах... на боевом участке нашей дивизии под названием “высота 947” <...> Я закончил последние главы 5 февраля (1917 г. – К.А.), а 3 марта я поздравил своих солдат с ответственным министерством и на молитве в “Спаси, Господи” мы упоминали Михаила Александровича (Романова. – К.А.). Через два дня Николая Николаевича (Романова. – К.А.). А потом в этом месте мои солдаты что-то мямлили, путались и что-то вы-

ходило несуразное»⁶. Таким образом, временной отрезок от начала работы над текстом до его публикации в 1921 г. в парижском журнале «Современные записки» составил около десяти лет. По сути, это период, в который уложилось все зрелое творчество Гребенщикова до его отъезда из революционной России. В этом смысле создававшиеся на протяжении 1912-1917 гг. повести и рассказы находились в состоянии постоянного диалога с постепенно воплощавшимся замыслом первого «сибирского» романа, на их поэтике не могли не апробироваться решения, которым уготовано было лечь в основу главного произведения писателя.

Г.Д. Гребенщиков первым из плеяды молодых сибирских литераторов начал публиковать свои произведения отдельными изданиями. Сборник рассказов «Отголоски сибирских окраин» и пьеса «Сын народа», являясь очевидной пробой пера, обнаружили важные тенденции, которым предстояло, окрепнув со временем, стать доминантами творческих поисков писателя. С самых ранних пор прозаические эксперименты Гребенщикова, при всей широковещательности его замыслов, характеризуются достаточно четкой областной установкой. Об этом говорят сами их названия: «Отголоски сибирских окраин», «В просторах Сибири» (показательно, что по выходе первого тома сборника Гребенщиков планировал и все последующие свои книги называть «В просторах Сибири»). Об этом он сообщил в письме к П.А. Казанскому от 21 авг. 1913 г.⁷). Изданная под тем же названием два года спустя вторая книга двухтомника открывается посвящением Г.Н. Потанину. Отмеченные особенности прозы Гребенщикова лежат на поверхности, но вместе с тем все они – от географического акцента в заглавиях до адресации текста лидеру областничества – свидетельствуют о том, что писательское самосознание формируется в определенном направлении.

Среди предшественников Гребенщикова можно назвать, пожалуй, единственного автора, адекватного ему по масштабу. Это Н.И. Наумов, беллетрист-народник, отдельные произведения которого, прежде всего сборник рассказов «Сила соломѹ ломит» (1874), обрели всероссийскую известность. Оба этих автора отвечают самому очевидному (хотя, конечно, не исчерпывающему) критерию областной литературы: уроженец Сибири живописует свою родину. Между Наумовым 70-80-х гг., представлявшимся тогда Потанину идеалом художника-областника, и Гребенщико-вым 1910-х гг. нет никого равного им по вкладу в развитие региональной словесности. Пик писательской карьеры Наумова отделен от вершины творческой деятельности Гребенщикова (до его эмиграции) почти четырьмя десятилетиями. Крайние точки данного временного отрезка позволяют увидеть серьезные изменения, произошедшие за этот период в региональной литературной системе.

Внимание Наумова, яркого представителя народнической прозы, сосредоточено главным образом на социальных коллизиях в среде сибирского простонародья, чье материальное неблагополучие, описанное автором с аналитизмом этнографа и историка, предстает как печальная сторона жизни русского простолюдина вообще. В череде повседневных житейских бед – рекрутчины, долгов и разорения – сибирский мужик превращается под пером Наумова в носителя общенациональ-

⁶ Государственный музей истории литературы и культуры Алтая. Фонд Г.Д. Гребенщикова. Ед.хр. 406/77. Л. 1-2.

⁷ РГАЛИ. Ф. 1082. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 29об.

ной трагедии простого человека, переставая чем-то существенным отличаться от своих собратьев по всей России. Индивидуализирующие его особенности географии и ландшафта находятся для писателя далеко не на первом месте. Показательно, что само слово «Сибирь», несмотря на подзаголовок «рассказы из быта сибирских крестьян», почти не встречается на страницах главного произведения Наумова, а когда топоним появляется, то в окружении такого контекста, который полностью исключает любые областнические реминисценции. «Кроме того, в Сибири существует еще обыкновение законтрактовать неисправных плательщиков податей и недоимок в работы к лицам, посторонним крестьянскому миру...» «Исправление дорог в Сибири составляет одну из натуральных повинностей крестьян» и т.д.

Очевидно, разделявший ключевые положения областнической программы, названный Потаниным «патриотом» и противопоставленный литературным «абсентеистам» Куцевскому и Оммулевскому, Наумов все-таки не стал *художником* областнического направления. Самосознание идеологическое не трансформировалось пока в самосознание литературное. Вероятно, в начальный период «бури и натиска» «областническая тенденция» могла существовать только в жанрах, граничивших с публицистикой: очерке, фельетоне, научной или литературно-критической статье. Пример Гребенщикова важен именно на этом фоне. Ему удается, позиционируя себя как описателя Сибири, принадлежащего к кругу Потанина, воплотить наработанный региональной интеллигенцией за несколько десятилетий идейный комплекс в художественном тексте. По сути именно Гребенщиков стал первым известным как на своей родине, так и за ее пределами областным сибирским *литератором*.

Как писатель, столкнувшийся с абсолютно новыми для областного автора проблемами поэтики, Гребенщиков был поставлен перед необходимостью разработки новой «метафоры» своей родины – не музея редкостей и древностей в духе издателя «Сибирского вестника» Г.И. Спасского, не страны приключений и поверженных злодеев романтика И.Т. Калашникова и даже не «штрафной колонии» областников. Такой метафорой стала дихотомия Сибирь – деревня. Далее мы рассматриваем эволюцию структуры «деревенского» рассказа Гребенщикова на примере наиболее показательных текстов, вошедших в сборник «В просторах Сибири» («Пришельцы», «Змей-Горыныч», «Двое»).

В четвертом разделе главы анализируется первая часть романной эпопеи «Чураевы», созданная в период, предшествующий эмиграции Г.Д. Гребенщикова. Исследуются источники и структура сюжета романа, художественное пространство.

Судьба первого тома «Чураевых» своеобразна и в чем-то созвучна литературной и человеческой судьбе самого его автора. Посвященный реалиям сибирской действительности, роман писался большей частью *за* пределами Сибири, для публикации посылался сначала в журнал Горького «Летопись», затем, после отъезда Гребенщикова из Крыма в Стамбул, – в софийское издательство П.Б. Струве и, наконец, – в парижские «Современные записки», где с пятого номера журнала за 1921 год он начал печататься. С одной стороны, эта экзотическая для «областного» произведения география была вынужденной и диктовалась известными обстоятельствами исхода интеллигенции из России в начале 20-х гг. Однако с дру-

гой стороны, влившийся в ряды первой эмиграции Гребенщиков исполнил свою давнюю затаенную мечту: он оказался в кругу бесспорно *столичных* (в типологическом, а не топографическом смысле этого слова) писателей.

Убеждения и мировоззренческие ориентиры Гребенщикова характеризовались известной сложностью даже в 10-е гг., время, когда им были созданы тексты максимально близкие областническим программам. Начав, вопреки собственной «патриотической» установке, регулярно печататься в столичных изданиях, Гребенщиков всеми силами старался установить связи с писателями из «центра». Презентуя свои опубликованные тексты и решая судьбу рукописей, он выходит непосредственно на А.М. Горького, Е.А. Ляцкого, В.Г. Короленко, А.М. Ремизова, причем молодой литератор теперь явно не стремится обнаружить свою близость к областническим взглядам. В эпистолярии Гребенщикова начинают звучать интонации, свидетельствующие о сильном, хотя и неявном, желании автора быть сопричастным столичной литературной жизни. Поэтическая структура первой части «Чураевых» испытала на себе воздействие колеблющегося авторского самосознания, что выразилось в характерном построении конфликта и расположении соотносящихся друг с другом и семантически взаимодействующих сюжетных линий повествования.

Если критика русского зарубежья реагировала на Гребенщикова как на представителя «этнографической беллетристики» (М. Слоним), а «Чураевы» действительно обнаружили много общего с жанром областнического романа, анализировавшимся М.М. Бахтиным, то позиция самого Гребенщикова, отразившаяся в поэтической организации его романа, была в целом сложнее. Сюжетную структуру «Чураевых» определяет соотносящаяся в большей степени с *мироощущением* областника, чем с осмысленной идеологической *программой*, история замкнутого микропространства, сталкивающегося с открытым и безграничным внешним миром. Композиция романа формируется двумя сюжетными линиями, одна из которых подчинена идее «внутреннего» раскола (прение о вере в ските Фирса Чураева), другая – отношению с тем, что находится «вовне» (путешествие сына Фирса Викула в Москву и его женитьба на москвичке). Вместе с тем концепция разрушительного внешнего влияния реализована в мотивной структуре обеих сюжетных линий, что делает их тематическое различие (описание косного быта алтайских староверов и полубогемной столичной среды) кажущимся и уподобляет их зеркальному отражению друг друга. В обоих случаях ключевым моментом является мотив брака, относящийся, однако, не к матримониальной теме как таковой, а символизирующий скорее обретение героем нового качества, своего рода перерождение (пары персонажей Викул – Надежда; Самойло – Ненила).

Конструирование Гребенщиковым двух парных сюжетов, формирующих структуру романа, конечно, является продуманным ходом. Наваянная областнической публицистикой коллизия столичного жителя и сибирского старожильческого мира в менее явной форме дублируется историей о поморской монахини, привезенной на Алтай как живой аргумент в предстоящих межконфессиональных баталиях. Реализованная в обоих случаях мотивология брака связана как с бытописанием (идеологический конфликт перенесен Гребенщиковым из сферы политической абстракции в повседневность человеческих отношений), так и с иносказанием: влияние метрополии на колонию рассматривается как символическая свадьба,

что типологически, а, быть может, и историко-генетически соотносится с характерными мотивами сюжета о Ермаке, например, в рецепции П.П. Ершова – первоосновой всех литературных обработок темы покорения Сибири. При этом рассказ о Нениле привносит совершенно новую интонацию в обычное для Гребенщикова со времен «Змея Горыныча» и «Пришельцев» изображение патриархального социума: раскол проходит не только по линии столица – Сибирь (Надежда Никитина и ее адюльтер с братьями Чураевыми), но и внутри самого старообрядческого мира, жертвой которого и одновременно невольным судьей оказывается молодая поморянка.

Существенной особенностью поэтической организации «Чураевых», романа о старообрядцах, является то, что вопрос о вере в нем тесно переплетается с вопросом о «землях», пространстве, а роман в целом сочетает религиозную тематику с территориальной антитезой «Россия – Сибирь», имеющей областнические корни. Эта черта поэтики текста очень характерна для автора, прочно связанного с публицистическим и литературным процессом Сибири рубежа XIX-XX вв. Далее нами анализируется поэтика художественного пространства романа, в котором сопоставлены территориальные миры Москвы и Сибири, обнаруживающие определенные семантические созвучия (например, в связи с мотивом строительной жертвы).

Отмеченные особенности художественной организации «Чураевых» несомненно связаны с эволюцией областнических воззрений в сознании писателя. В своем исходном виде «областническая идея», являясь порождением политизированной публицистики 1860-х гг., тяготела к построению четких ценностных антитез, важнейшей из которых являлась коллизия Сибири и «центра». В этом смысле поэтика романа Г.Д. Гребенщикова позволяет говорить об известном преодолении исходных установок областной культуры, о трансформации ее самосознания. Непримируемость сторон конфликта оказывается, в общем, мнимой – и это при сохранении всех традиционных «знаков» непримируемости, как, например, ситуации «москвичка в старообрядческом селении», чем-то напоминающей по своим интонациям фельетоны Н.М. Ядринцева о «наезжих» и «навозных».

Областная «локальность» в романе Гребенщикова словно пытается открыться миру, влиться в него. В этом, как кажется, есть основание видеть неявную, скрытую полемику с грезами областнической публицистики о самодостаточности и самостоятельности сибиряка, художественным выражением которого часто служил образ старообрядца. Трудно сказать, являлась ли эта полемика осмысленной авторской задачей, но бесспорно то, что она обозначила очередной рубеж в эволюции самосознания сибирского интеллигента, самосознания по определению двойственного и проблематичного, обреченного совмещать консервативную «русскость» Сибири с фактическим нахождением последней вне исконного ареала русской культуры.

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования и намечаются перспективы дальнейшей работы.

Формирование русской литературной традиции в Сибири было долгим и многотрудным процессом, занявшим, по меньшей мере, три столетия. Причем возникавшие на пути становления этой традиции паузы, моменты своеобразного «без-

временья» создавали на каждом следующем этапе развития ощущение того, что региональная словесность вновь только нарождается, а опыт, накопленный годами ранее, – не в счет. На уровне субъективных писательских оценок данное мнение было общепринятым, однако оно приходило в любопытное противоречие с солидным объемом текстов, беспрестанно пополнявшимся с начала XVII столетия и к концу XIX в. включавшим в себя не только обычные для провинции опусы «обыкновенных талантов», но и явления совершенно незаурядные – цикл сибирских летописей, творчество С.У. Ремезова, П.П. Ершова, П.А. Словцова, литературно-критическое наследие областников. Объективно рассуждая, у нас есть все основания говорить о шедшем в крае непрерывно, хотя порой в латентных формах, процессе накопления культурного потенциала, являвшегося залогом самосознания образованного сибиряка (см. об этом ряд статей В.Г. Одинокова). Поэтому на самом деле вовсе не удивительно, что время от времени, как в начале XIX в. или в 1900-1910-е гг., литература Сибири вдруг представляла системным явлением и производила на свет целую генерацию небезыntenесных авторов.

Отдаленные друг от друга во временном отношении, эти «всплески» литературной активности могут быть тем не менее рассмотрены в рамках единого и закономерного процесса становления региональной словесности, а художественные тексты – прямые результаты этой активности – проанализированы с точки зрения преемственности на уровне поэтики. Опыт подобного анализа был предложен в реферируемой диссертации.

Вместе с тем подыдя к хронологическому концу традиции (после 1917 г. областничество было подвергнуто прямому запрету), исследователь не может не задать вопросом: были ли у регионального литературного процесса XIX – начала XX вв. все-таки какие-то последствия, помимо группировавшихся в эмигрантских центрах небольших сообществ интеллигентов-сибиряков? Возможна ли литературоведческая, культурологическая реконструкция этих последствий в рамках общенационального литературного развития середины – второй половины XX в.? Эти вопросы связаны с научными *перспективами*, которые, как кажется, открывает настоящая работа.

Действительно, перед исследователем сибирского литературного регионализма 1920-е годы предстают труднопреодолимым препятствием. Смерть Г.Н. Потанина, гибель А.Е. Новоселова и А.В. Адрианова, эмиграция Г.Д. Гребенщикова, М.П. Головачева, ряда других ярких представителей сибирской интеллигенции, прекращение в 1919 г. журнала Вл.М. Крутовского «Сибирские записки», последнего издания, близкого областнической программе, невольно создают впечатление пресечения традиции, остатки которой на родине подлежали безоговорочному искоренению, а в культуре зарубежья – ассимиляции под влиянием сопредельных контекстов. Вместе с тем в советское время практически не претерпел изменений важнейший для края культурогенный фактор – семантические параметры самой Сибири как особого ландшафта с исторически двойственным статусом: внутрироссийской провинции и одновременно экстерриториального по отношению к метрополии колониального мира. Традиционная соотнесенность Сибири с семиотическим полюсом *иного* позволяла противопоставлять особенности ее развития историческому пути, планы которого генерировались в центре. Например, актуальная в течение всей советской эпохи установка на построение технократическо-

го общества упрочила ассоциативную связь Сибири с альтернативной идеей экологического эдема, последнего рубежа природной естественности. Рано или поздно это обстоятельство не могло не привлечь к себе внимание непредвзятого автора, дистанцирующегося от вульгарно-социологической эстетики советской литературы. В этой связи представляется, что закономерным шагом литературного сибиреведения в будущем может стать сравнение художественной традиции, связанной с развитием областнической тенденции XIX-XX вв., и литературы второй половины XX в., обычно ассоциирующейся с «почвенническим» направлением и во многом созданной авторами-сибиряками (В.П. Астафьев, В.Г. Распутин, В.М. Шукшин). Далее в качестве примера нами анализируется цикл очерков В.Г. Распутина «Сибирь, Сибирь...», в котором крупнейший писатель, уроженец Сибири, находясь вне всякой биографической связи с ее дореволюционным прошлым, по сути, реконструировал традиционный для региональной словесности тематический контекст и мотивологический ряд. Думается, что осмысление подобных творческих и идеологических стратегий новейшей эпохи едва ли будет успешным без учета литературного потенциала, формировавшегося на востоке России в течение трех веков.

Основные положения работы отражены в следующих публикациях:

1. *Анисимов К.В.* Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX веков: Особенности становления и развития региональной литературной традиции. Томск, 2005. 304 с. (17 п.л.)
2. *Анисимов К.В.* Вопросы поэтики литературы Сибири. Учебное пособие. Красноярск, 2001. 108 с. (5,7 п.л.)
3. *Анисимов К.В.* Поэтика литературы Сибири 10-30-х годов XIX столетия (особенности становления региональной литературной традиции). Учебное пособие. Томск, 2004. 100 с. (5,8 п.л.)
4. *Анисимов К.В.* Н.М. Карамзин и его последователи – интерпретаторы Строгановской летописи // Филологические науки. 2004. № 4. С. 3-12. (0,6 п.л.)
5. *Анисимов К.В.* У истоков сибирской темы в русской литературе XIX века: журнал Г.И. Спасского «Сибирский вестник» // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2004. Вып. 3 (40). Сер.: Гуманитарные науки (филология). С. 65-72. (0,8 п.л.)
6. *Г.Н. Потанин* Возрождение России и министерство народного просвещения / Публикация и комментарий *К.В. Анисимова* // Вестник Томского государственного университета. № 282. Июнь 2004. Сер.: «Философия. Культурология. Филология». С. 300-307. (0,3 п.л.)
7. *Анисимов К.В.* Сибирский областнический роман: от «Тайжан» к «Чураевым» // Филологические страницы. Сб.ст. Вып. 1. Красноярск, 1999. С. 20-32. (0,5 п.л.)
8. *Анисимов К.В.* Старообрядчество и областничество // Филологические страницы. Сб.ст. Вып. 1. Красноярск, 1999. С. 33-46. (0,5 п.л.)
9. *Анисимов К.В.* Символика границы в текстах о Сибири XVI-XIX вв. // Европейские исследования в Сибири. Вып. III. Томск, 2001. С.101-112. (0,5 п.л.)

10. *Анисимов К.В.* Областная сибирская проза XIX века: автобиография и литературный сюжет // Проблемы литературных жанров. Материалы X Международной конференции. Часть 1. Томск, 2002. С.238-241. (0,3 п.л.)
11. *Анисимов К.В.* Путешествие: к вопросу о жанровой составляющей сибирского текста // Сибирский текст в русской культуре. Сборник статей. Томск, 2002. С.20-30. (0,6 п.л.)
12. *Анисимов К.В.* Соотношение «политического» и «психологического» начал в сибирском областничестве XIX века // Научный ежегодник КГПУ. Вып. 3. Т.1. Красноярск, 2002. С. 70-76. (0,5 п.л.)
13. *Анисимов К.В.* Идея местного самосознания и поэтика текста: «Уподобление Сибирские страны» С.У. Ремезова // Сибирь в XXI веке: альтернативы и прогнозы развития. Часть 2. Красноярск, 2003. С. 82-92. (0,5 п.л.)
14. *Анисимов К.В.* Сюжет о Ермаке в сибирской словесности XIX века // Сибирь в контексте мировой культуры. Опыт самоописания. Коллективная монография. Томск, 2003. С. 35-50. (0,7 п.л.)
15. *Анисимов К.В.* Типологические аспекты сюжета о Ермаке в древнерусской книжности и фольклоре // Европейские исследования в Сибири: Вып. IV. Томск, 2004. С. 116-131. (0,8 п.л.)
16. *Анисимов К.В.* Биографический сюжет в областной культуре Сибири XIX столетия // Сибирский филологический журнал. 2004. № 1. С. 43-50. (0,6 п.л.)
17. *Анисимов К.В.* Сибирское областничество и творчество Г.Д. Гребенщикова: к интерпретации некоторых мотивов романа «Чураевы» (1-я часть) // Алтайский текст в русской культуре: материалы второго научного семинара «Алтайский текст в русской культуре». Вып. 2. Барнаул, 2004. С. 18-27. (0,5 п.л.)
18. *Анисимов К.В.* «Народно-областной тип». Н.М. Ядринцев в полемике с этнологическими изысканиями А.П. Щапова // Русский язык и литература в Сибири. Красноярск, 2004. С. 133-152. (0,7 п.л.)